



С. ДИКОВСКИЙ

**ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
КАТЕРА  
«СМЕЛЫЙ»**

Сергей Диковский

*Приключения  
катера  
«Смелый»*



Хабаровское  
книжное  
издательство  
1974

ДВР2  
Д 45

Печатается по изданию:  
С. Диковский. Комендант Птичьего острова.  
Хабаровск, Кн. изд., 1970





## Конец „Саго-Мару“

Я расскажу вам эту историю с одним только условием: разыщите в Ленинграде нашего моториста Сачкова. Сделать это нетрудно и без адресного стола.

Он живет в доме номер шесть, у Елагина моста. Если запомнить его приметы, вы узнаете парня даже небритым.

Рост его сто семьдесят два — ниже меня примерно на голову. Глаза обыкновенные, волосы тоже. Грудь сильно шерстистая, а на плече, по старой флотской моде, выколот голубой якорск. В оркестре он первая домра, на футбольной площадке всегда левый хавбек.

Как только найдете, передайте Сачкову, что «Саго-Мару» не видно даже во время отлива. В прошлом году из воды еще торчала корма, а месяц назад, когда мы проходили мимо Бурунного мыса, на косе сидели

только чайки. Так всегда бывает в этих местах: что не съест море — проглотит песок.

В 1934 году вместе с Сачковым мы служили на сторожевом катере «Смелый». Сачков — мотористом, я — рулевым. Славное было суденышко, короткое, толсто-бокое, точно грецкий орех, крашенное от топа до ватерлинии светлой шаровой краской, как и подобает пограничному кораблю. Весело было смотреть (разумеется, с берега), когда море играло с катером в чехарду, а «Смелый» шел вразвалочку, поплеывая и отряхиваясь от наседавшей волны. Не раз мы обходили на нем Камчатское побережье и знали каждый камень от Олюторки до Лопатки.

По совести говоря, «Смелый» доживал в отряде последние годы. Он был достаточно остойчив и крепок, чтобы выйти в море в любую погоду, и слишком нетороплив, чтобы использовать эти качества при встрече с противником.

Там, где успех операции зависел только от скорости, на «Смелый» трудно было рассчитывать... Так думали все, кроме Сачкова. Это понятно. Сидя в машинном отделении, никогда не увидишь, что делается наверху. Кроме того, Сачков был упрям и обидчив. Стоило только за обедом заметить, что «Соболь» или «Кижуч» ходят быстрее, чем «Смелый», как наш механик мрачнел и откладывал ложку.

— А вы научитесь сначала отличать примус от дизеля, — советовал он обидчику, — вот тогда сядьте на «Соболя» и попробуйте меня обогнать.

Никаких возражений он не терпел и все, что говорилось о старом движке, принимал на свой счет... «Нет в море катера, кроме «Смелого», и Сачков — механик его», — говорили про нас остряки.

У этого тощего остроносого парня была еще одна странность: он любил математику. Подсчитать, когда поезд обгонит улитку или за сколько минут можно наполнить бочку без днища, было для него пустяком.

Квадратные корни наш моторист извлекал быстрее, чем ротный фельдшер рвет зубы. Этому, конечно, трудно поверить, но я видел сам, как Сачков, получив увольнительный билет, шел в городской парк, ложился на траву и начинал щелкать задачи, точно кедровые орехи. При этом он улыбался и чмокал губами.

Дошло до того, что Сачков стал решать задачи по ночам, зажигая под одеялом фонарь. Однажды он принес в кубрик и повесил рядом с портретом наркома какого-то бородатого грека с пустыми глазами и бородой, закрученной не хуже мерлушки. Когда я указал ему на неуместность соседства, он махнул рукой и сказал:

— Не валяйте дурака, Олещук. Что, вы Пифагора, что ли, не видели?

В то время мы еще не знали, что Сачков готовится в вуз, и сильно удивлялись чудачествам моториста.

Понятно, что математические успехи Сачкова никакого отношения к работе катера не имели. Если нам удавалось взять на буксир японскую хищную шхуну, облопавшуюся рыбой, точно треска, то зависело это вовсе не от умения моториста решать уравнения. С каждым походом мы все больше и больше ощущали медлительность нашего катера.

В тот год мы охраняли трехмильную зону на западном побережье, куда особенно любят заглядывать японские хищники-рыболовы. Море там невеселое, мутное, но урожайное, как нигде в мире.

Были здесь киты-полосатики, метровые крабы, кашалоты с рыбьими хвостами и мордами бегемота, камбалы величиной с колесо, тающая на солнце жирная сельдь, пятнистый минтай, пузатая треска, корюшка, пахнувшая на воздухе огурцами, морские ежи, рыба-черт, каракатицы, осьминоги, морские львы, ревущие на скалах у мыса Шипунского, бобры, котики, нерпы — одним словом, все, что дышит, ныряет, плавает, ползает в соленой воде.

Я не называл красную рыбу и ее родичей — кету, горбушу и чавычу, но лососи — особый разговор... Рыба эта мечет икру только раз в жизни и обязательно в той реке, где нерестились ее предки. Каждый год, начиная с середины июля, лососи валом идут в пресную воду. Если река обмелеет, они будут ползти, если дорогу закроет коряжина или камень, они будут скакать.

В это время Камчатка теряет покой. Все, кто может отличить камбалу от кеты, надевают резиновые сапоги и лезут в воду навстречу лососю. В устьях рек появляются нерпы, отошавшие медведи выходят к ручьям, ез-

довые собаки, чуя запах свежей юколы<sup>1</sup>, скулят и рвут привязи.

По ночам на берегу и в море горят огни. Рыба рвет сети, топит кунгасы. Вода в реках кипит. Ловцы, засольщики, резчики, курибаны<sup>2</sup> — ходят облепленные чешуей, усталые, мокрые и веселые.

Оживают и хищники. Японские промышленники похожи на треску: чем больше рыбы, тем шире разевают они пасти.

«Железные китайцы»<sup>3</sup> на консервных заводах жуют лососей круглые сутки, японские сезонники на арендных участках не вылезают из моря, пройдохи синдо ставят в неводах двойные открылки<sup>4</sup>. Но этого мало. Господа из Хоккайдо посылают к Камчатке москитный флот, вооруженный переметами и сетями. Неуклюжие, но добротные кавасаки, вместительные сейнера, быстроходные шхуны, древние посудины с резными бушпритами<sup>5</sup> — сверстники фрегата «Паллада», — сотни прожорливых хищников слетаются сюда, точно мухи на кухню. Самые мелкие идут с островов Курильской гряды — без компаса и без карт, с мешком сорного риса и бочкой тухлой редьки, напарываются на рифы, платят штрафы и все-таки пытаются воровать.

Их тактика труслива и нахальна. Если пограничный корабль поблизости, хищники держатся за пределами трехмильной зоны; здесь они ждут, чинят сети, вяжут фуфайки или прохаживаются по палубе с таким видом, как будто не могут налюбоваться камчатскими сопками.

Стоит только отвернуться, как эта орава устремляется к берегу и с непостижимым проворством хватает рыбу за жабры.

Многие из хищников были хорошо нам знакомы. Любой из нашей команды мог за три мили узнать кавасаки «НГ-43» или двухмоторный катер «Хаяи», всегда таскавший за собой целую флотилию лодок. Особенно много крови испортила нам шхуна «Саго-Мару». Это было

---

<sup>1</sup> Юкола — вяленая рыба.

<sup>2</sup> Курибаны — приемщики лодок.

<sup>3</sup> «Железные китайцы» — автоматы для резки и потрошения рыбы.

<sup>4</sup> Открылки — часть сетей.

<sup>5</sup> Бушприт — наклонная мачта на носу корабля.

суденышко тонн на семьдесят, с крепким корпусом и хорошими обводами. В свежую погоду оно свободно давало миль десять — двенадцать, ровно столько, чтобы вовремя уйти в безопасную зону.

Вероятно, «Саго-Мару» имела базу поблизости, на острове Шимушу, потому что появлялась она с удивительным постоянством, каждый раз вблизи Бурунного мыса, где стоит японский консервный завод.

Намытая рекой песчаная отмель и мыс Бурунный образуют здесь неглубокий залив, в котором всегда плещется рыба. Трудно сказать, что привлекает ее в эту мутную воду, но в июле залив напоминает чан для засола сельдей.

Рыба проникает сюда в часы прилива через отмель и после отлива попадает как бы в мешок. В поисках выхода она устремляется через узкий проход вдоль мыса Бурунного. Вот тут-то она натывается на переметы или сети, расставленные японскими хищниками.

Рыбаки, преследующие треску и лосося в этом заливе, рискуют не меньше, чем рыба. Шхуна с осадкой семь футов может выйти отсюда, только держась в проходе параллельно мысу Бурунному. Однако это обстоятельство несколько не смущало наших знакомых.

У шкипера «Саго-Мару» был замечательный нюх. Едва «Смелый» показывался милях в пяти от завода, как шхуна выбирала сети и уходила в безопасную зону.

В тот год катером командовал Колосков. Он был из керченских рыбаков — рассудительный, хитроватый, с упрямой толстой шеей и красными ручищами, вылезавшими из любого бушлата на целую четверть. Колосков преследовал «Саго-Мару» с холодным упорством и никогда не смущался исходом погони.

— Дальше моря все равно не уйдут... — убеждал он самого себя, ложась на обратный курс. — Быть треске на крючке!

Но сквозь шутку пробивалась досада: нелегко смотреть, как обкрадывают советские воды.

Весь май мы провели на восточном побережье Камчатки. Мы задержали там шхуну фирмы Ничиро и два кунгаса, полные сельди. В июне нас перебросили из Тихого океана в Охотское море, и счастье снова изменило нашей команде.

«Саго-Мару» продолжала обворовывать побережье.

Иногда нам удавалось подойти к шхуне ближе трех миль, и все-таки она успевала уйти, отметив затопленные сети бочонком или циновкой. Однажды мы извлекли тресковый перемет длиной около полукилометра, в другой раз поднимали затонувшую сеть, в которой задохнулось не меньше пятисот центнеров кеты и горбуши.

Все эти трофеи выглядели очень скромно по сравнению с возросшим нахальством «Саго-Мару». Она стала подпускать нас настолько близко, что мы различали лица команды. В таких случаях шкипер выходил на корму и протягивал нам конец.

Однажды мы дали предупредительный выстрел в воздух. На шхуне забежали и даже сбавили ход, но вскоре мотор застучал с удвоенной резвостью. Видимо, синдо<sup>1</sup> убедил моториста в том, что пограничники не станут стрелять по безоружному судну.

Мы долго удивлялись собачьему нюху синдо, пока не обнаружили связи «Саго-Мару» с японским заводом.

Отделенные мысом от моря, хищники не могли заметить даже кончиков наших мачт. Зато с заводской площадки были отлично видны берег и море.

Каждый раз, когда мы появлялись в поле видимости, на сигнальной мачте возле конторы поднимался полосатый конус, указывающий направление ветра. Вслед за этим невинным сигналом из-за мыса стрелой вылетала наша знакомая.

Мы гонялись за «Саго-Мару» весь июнь, караулили ее за Птичьим камнем, пытались подойти во время тумана, но всегда безуспешно... Когда мы добирались к месту лова, шхуна уже покачивалась за пределами трехмильной зоны.

В конце концов смеющаяся рожа синдо и желтые куртки команды настолько нам примелькались, что многие краснофлотцы стали их видеть во сне.

В июле, накануне хода лосося, наш катер встал на переборку мотора. Невеселое это было время. «Смелый» стоял на катках, без винта, гулкий, как бочка, и мы отдирали с его днища ракушки.

Доволен был только Сачков. Он приходил в кубрик поздно ночью, измазанный в нагаре и масле, умывался, стараясь не греметь умывальником, и на рассвете снова исчезал в мастерской.

---

<sup>1</sup> Синдо — старшина на рыбалках.

Собрав мотор, он долго гонял его на стенде, выстушивал самодельным стетоскопом и наконец заявил:

— Бархат!.. Мурлыка!.. На цыпочках ходит.

Кто-то резонно ответил:

— Пусть кот на цыпочках ходит... Важно — как тянет...

— Зверь! С таким хоть на Северный полюс.

...Ночью мы вышли из бухты. Стояла такая тишина, что море казалось замерзшим. Воздух был свеж, плотен, мотор дышал полной грудью, и мы понеслись точно по льду.

Как только маяк скрылся из виду, Сачков позвал меня в машинное отделение.

От зубов до ботинок моторист наш блестел не хуже медяшки. Он побрился, надел новую тельняшку и свежий чехол, одеколоном от него несло так, что щипало глаза.

Жестом фокусника Сачков наполнил кружку водой и поставил ее на кожух мотора.

— Чем не «паккард»? — спросил он ревниво.

Вода не дрожала. По мнению моториста, это было признаком безупречной подгонки мотора и вала. Я похвалил движок. Сачков сразу заулыбался.

— Я думаю, можно готовить буксирный конец, — сказал он, оглядывая мотор, точно квочка. — Не забудь крикни, когда мы подойдем к «Саго-Мару»... Я хочу поглядеть, как будет держаться их моторист...

— Ну, а если...

— Тогда я прибавлю еще пять оборотов, — ответил он с сердцем.

На рассвете мы увидели невысокий деревянный маяк мыса Лопатка, знакомый каждому дальневосточному моряку. Маяк этот стоит на самом краю Камчатки, между Тихим океаном и Охотским морем, и в туманные дни предупреждает корабли об опасности звоном колокола.

На этот раз маяк молчал. Горизонт был чист. Легкий береговой бриз еле тормозил море.

Радуюсь утренней тишине, косатки выскакивали из воды, описывали крутую дугу и уходили на глубину, оставив светящийся след. Порой из-под самого носа «Смелого», работая крыльями, точно ножницами, вырывался испуганный топорок.

Мы подходили к Бурунному мысу, держась возле самого берега, но все-таки нас успели заметить. Кто-то из японцев подбежал к мачте и поднял условный знак — конус.

«Саго-Мару» не появлялась. На полном ходу мы обогнули мыс и чуть не налетели на японский кунгас, подходивший к заводу.

Здоровенные полуголые парни в пестрых платках и куртках из синей дабы вскочили и подняли оглушительный крик.

«Саго-Мару» стояла от нас не далее чем в трех кабельтовых<sup>1</sup>. Даже без бинокля были видны груды рыбы на палубе и намотанный на шпиль кусок сети. Вероятно, лебедка вышла из строя, потому что четверо матросов, поминутно оглядываясь на нас, выбирали якорь вручную.

Две небольшие исабунэ<sup>2</sup>, заваленные рыбой до самых уключин, спешили к «Саго-Мару». Боцман бегал по палубе и покрикивал на гребцов. Но ловцы и не ждали понуканий: с горловыми отрывистыми выкриками они разом откидывались назад, — весла гнулись и рвали воду.

На палубе «Смелого» нас было трое: Колосков за штурвалом, возле него боец-первогодок Косицын, сырой, но старательный чувашский парняга, я — на носу, держа выброску наготове.

Полным ходом «Смелый» мчался на шхуну. Теперь нас разделяло всего два кабельтовых, но японцы, качаясь, как заведенные, все еще продолжали выбирать якорную цепь.

Трудно было понять, на что рассчитывают хищники: исабунэ с ловцами только что подходили к борту, выход в море был отрезан сторожевым катером.

— Товарищ Косицын, — сказал Колосков почти весело, — возьмите кранец<sup>3</sup>... Видите, гости не шевелятся... Облопались.

В это время у боцмана вырвался торжествующий крик. Якорь отделился от воды. Одновременно к борту подошли исабунэ с ловцами.

---

<sup>1</sup> Кабельтов — морская мера длины; 1 кабельтов равен 185,2 метра.

<sup>2</sup> Исабунэ — рыбацкая лодка.

<sup>3</sup> Кранец — веревочная прокладка для смягчения толчка.

Поднимать лодки на тали уже было поздно. Мы видели, как рыбаки вскочили на шхуну, и «Саго-Мару», показав нам корму, пошла прямо к песчаной мели, отделявшей залив от реки.

В другое время это походило бы на самоубийство. Но теперь был полный прилив, и вода покрывала косу на несколько футов, — на сколько, мы еще не знали.

Мы с Колосковым, точно по команде, взглянули друг на друга.

— Какая у них все же осадка? — спросил командир.

— Шесть... Не больше семи...

— Я тоже так думаю.

С этими словами Колосков взял на полкорпуса влево и направился наперерез шхуне прямо на мель; по сравнению с «Саго-Мару» у нас под килем было в запасе два-три фута воды.

На стыке морской и речной воды нас сильно качнуло и поставило лагом к течению.

Несколько секунд «Смелый» не слушался руля, затем переборол коловерт и ходко пошел вдогонку за шхуной. Мы были всего метрах в пятнадцати от шхуны, видели озадаченные лица команды и могли пересчитать даже рыбу, лежавшую навалом на палубе.

«Смелый» подходил к «Саго-Мару» левым бортом.

Косицын перенес сюда кранцы. Я крикнул японцам: «Стоп!» — и перекинул на палубу шхуны конец. Никто из команды не шелохнулся, и канат скользнул в воду.

Синдо, стоя на корме лицом к нам, курил медную трубку и поплеывал в воду с таким видом, будто за кормой шел не сторожевой катер, а безвредный дельфин.

— Бросьте кошку, — тихо сказал Колосков.

Я выбежал на нос и раскрутил на тресе полупудовую кошку. Железные крючья, скользнув по палубе «Саго-Мару», вцепились в фальшборт<sup>1</sup>.

— Киринасай!<sup>2</sup> — крикнул синдо.

Боцман разрубил веревку ножом. На шхуне захохотали. Под одобрительные возгласы матросов синдо поднял с палубы лосося и помахал рыбьим хвостом.

Косицын впервые видел такое нахальство.

---

<sup>1</sup> Ф а л ь ш б о р т — надстройка на бортах судна для увеличения их высоты.

<sup>2</sup> К и р и н а с а й! — Режь!

Не выдержав, он погрозил синдо кулаком и выругался. За это он немедленно получил замечание.

— Это нам ни к чему, — сказал Колосков. — Если нет выдержки — отвернитесь... Вот так.

И он повернулся к разговорной трубке, шепча:

— Самый, самый полный!

— Есть... ам... полны... — ответил Сачков.

Некоторое время нам казалось, что «Саго-Мару» и «Смелый» стоят на месте, затем просвет несколько увеличился. Медленно, с тяжким усилием, шхуна оторвалась от катера.

— Еще два оборота... Еще... — зашептал Колосков, стараясь не глядеть на рыбный хвост.

— Есть... два оборота, — ответило эхо внизу.

Не хватало немного. Быть может, действительно нескольких оборотов винта. Но мыс, защищавший воду от ветра, уже оборвался, набежала волна и сразу сбила нам ход.

Через двадцать минут шхуна была за пределами трехмильной зоны. Синдо, помахав нам рукой, сбросил в воду большой стеклянный поплавок в веревочной сетке.

— Мимо! — сказал Колосков, и мы, не задерживаясь, прошли мимо шара.

Погода подурнела. Ветер уперся в рубку. «Смелый» начал кланяться и принимать воду на палубу. Можно было бы сразу, взяв на полкорпуса влево, уйти под защиту берега. Однако мы продолжали погоню. Колосков был упрям и всегда надеялся на удачу.

Нас сильно болтало. Корпус «Смелого» гудел под ударами, вода, не успевая уйти за борт, шипя, носилась по палубе. Временами, когда задиралась корма, было слышно, как оголенный винт рвет воздух.

Наконец волна вышибла стекло в люке, и вода стала заглядывать в машинное отделение. Мы были усталые и мокрые. Кок пытался приготовить обед, но кастрюлю вырвало из гнезда, и примус захлебнулся в борще.

На Косицына было скучно смотреть. Зеленый, как озимь, он запустил все десять пальцев в бухту пенькового троса и закрыл глаза, чтобы не видеть воды.

Я велел Косицыну спуститься в кубрик и лечь на койку. Он крикнул: «Есть!» — и прилип к палубе еще плотнее.

— Оставьте его, — сказал Колосков громко, — я волжан знаю. Их в воде не размочишь.

Это подействовало на Косицына не хуже стакана горячего кофе. Он поднялся и даже пытался пройтись по палубе.

Вскоре стал виден остров Шимушу, снежно-синий с теневой стороны, багровый на солнце. Низкий корпус шхуны затерялся в волнах, и мы повернули обратно.

По дороге к Бурунному мысу командир велел поднять поплавок. Между стеклом и веревочной сеткой была вложена обернутая в клеенку записка. Она немного подмокла, но все же слова, выведенные печатными русскими буквами, были достаточно разборчивы:

«Добру ден!

Хоцице один банку ойл. Наверно, вы истратири сыгодня много горютчеге».

Колосков бережно разгладил бумажку ладонями и спрятал в бушлат.

— А что? — сказал он с хитрой усмешкой. — Быть может, и верно, возьмем... Вместе со шхуной.

На следующий день после этой истории я увидел Сачкова за книгой. Он сидел в ленкаюте очень веселый, чертил что-то в тетради и от удовольствия даже чмокал губами. Видимо, распутывал очередную задачу с десятью неизвестными.

Меня возмутила беспечность этого несуразного парня. Он выглядел так, как будто бы только что привел на буксире «Саго-Мару». А между тем наши бушлаты еще не успели просохнуть после неудачной погони.

Я сел за стол напротив Сачкова и нарочито громко спросил:

— Что же ты не вышел на палубу? Ведь ты хотел видеть японского моториста?

Он сразу помрачнел, но ничего не ответил.

— Ладно, забудем... Я не затем... Есть одна любопытная задача... Правда, она так запутана, что сам черт...

— Какая? — спросил Сачков, оживившись.

— Пиши... Одна хищная шхуна выловила в наших водах сто целых, запятая, пять сотых центнера рыбы.

Скорость японца — икс, помноженный на нахальство. Дальше... В два часа ноль минут шхуну заметил катер «Смелый» с мотористом Сачковым. Расстояние между ними две мили. Спрашивается...

— Как раз я думал об этом, — быстро ответил Сачков. — Вот решение.

Он показал мне схему реки, залива и Бурунного мыса, на которую был нанесен чернилами жирный треугольник.

— Это что?

— Гипотенуза короче суммы двух катетов, — загадочно ответил Сачков. — Ты это знаешь?

В то время я не был силен в геометрии.

— Как тебе сказать, — заметил я осторожно. — Бывают разные случаи...

Он с удивлением взглянул на меня и продолжал:

— ...Гипотенуза — это река. Пролив, огибающий отмель, — два катета. Если нам войти в реку ночью и дожждаться отлива... Ты понял?

— Пожалуй... За исключением катетов.

— ...Не видя нас в море, «Саго-Мару» входит в залив и начинает сыпать сеть. В это время мы вылетаем из реки... По гипотенузе... Вот так...

— Тогда она уйдет вчерашним путем.

— ...Я сказал — дождемся отлива... Остается только проход вдоль мыса Бурунного. Она бросается сюда. Но ведь гипотенуза короче суммы двух катетов. Мы ждем шхуну у выхода. Ясно?

Я пробовал возражать, но спор оказался неравным. Против меня были двое — Евклид и Сачков. Под их напором пришлось согласиться, что гипотенуза — кратчайший путь к победе.

Колосков, которому мы немедленно показали чертеж, выслушал нас молча.

— Поживем — увидим, — подытожил как-то неопределенно он.

Мы расстались с командиром немного разочарованные, но через час встретили Колоскова с клеенчатой тетрадкой под мышкой. Он возвращался из штаба. Вслед за ним двое краснофлотцев почему-то несли полевой телефон и катушку.

— Увольнительных в город не будет, — предупредил Колосков на ходу.

...Вечером, не успев отдохнуть после похода, мы снова вышли из бухты.

На этот раз застали «Саго-Мару» у самого выхода из залива. Она успела выбрать невод и уходила в открытое море, едва не черпая воду бортами. Двое рыбаков, стоя у кормового люка по колени в навале, сортировали рыбу, ловко выхватывая крючками то камбалу, то раздувшуюся треску, то пятнистого минтая.

Носовой люк уже был загружен. Боцман в платке и желтой зюйдвестке окатывал из брандспойта палубу, на которой еще блестела чешуя. Увидев нас, он стал выкрикивать остроты, подкрепляя их непристойными жестами.

Мы подошли так близко, что ощущали запах гниющей рыбы, которым шхуна была пропитана от мачты до киля.

Затем все повторилось. Косицын перенес кранцы. Я бросил конец, на этот раз нарочито неловко. Шхуна оторвалась от нас и пошла в открытое море.

Колосков отлично разыграл досаду. Он хлопал себя по ляжкам, растерянно разводил руками и суетливо перебегал с борта на борт, вызывая взрывы смеха на шхуне. Наконец, безнадежно махнув рукой, командир спустился в кубрик, где сидела команда.

— Дивно сыграно! — объявил он, посмеиваясь, и пощупал карман, где лежала записка синдо.

Обычно после погони мы возвращались на базу или продолжали движение к заданной цели. На этот раз Колосков повел катер прямо к Бурунному мысу.

Против обыкновения он был доволен, подтрунивал над мотористом и часто поглядывал на часы.

Было так темно, что мы перестали различать очертания берега... Только гребешки волн вспыхивали, рассыпаясь в пыль на ветру. Темнота еще больше обрадовала Колоскова.

— Скоро начнется прилив, — сказал он, когда справа по борту повисли над водой заводские огни. — Хотел бы я знать, когда у них уходит третья смена...

— Через час они будут спать, — ответил Сачков, вылезая из люка. — Это легко подсчитать.

— Опять гипотенуза?

— Нет, арифметика...

— Ну так вот что, — сказал торжественно Колос-

ков. — Даю вам такую задачу: извлеките из вашего дизеля все сорок пять сил, умножьте их на два и прибавьте еще семь оборотов. Мы должны войти в реку раньше, чем начнется отлив.

С этими словами он выключил ходовые огни и засмеялся, довольный остротой.

Завод спал, когда мы на малых оборотах подошли к Бурунному мысу. Обитые толем, узкие, как гробы, бараки японских рабочих были темны. Во дворе на шестах висели мокрые циновки. Темнели накрытые брезентом штабеля красной рыбы. Кто-то ходил по цеху, рассматривая с фонарем засольные ямы.

Наши рыбацкие поселки живут даже в полночь. Всегда где-нибудь увидишь свет, услышишь песню, встретишь отчаянного курибана с ватагой засольщиц. Японский завод выглядел безлюдным, совсем как поздней осенью, когда последний кунгас с рыбаками отчаливает от Бурунного мыса.

Здесь работали только мужчины: рыбаки с Карафуто<sup>1</sup> и Хоккайдо. Они отдыхали шесть часов в сутки и дорожили каждой минутой короткого сна. Трудно было поверить, что в бараках лежали в три яруса полторы тысячи парней. В темноте стучал только мотор рефрижераторной установки.

Был полный прилив. Река, подпираемая прибоем, шла вровень с низкими берегами. Ветлы купали листья в темной воде. Далеко в море тянулась широкая полоса пены. Мы вошли в нее и, преодолевая мощное течение, двинулись к устью реки. Чтобы заглушить шум мотора, были закрыты иллюминаторы и машинные люки.

Разговор на палубе смолк. Мы подходили к барам — отмелям, образованным в устье течением сильной реки. Колосков передал мне штурвал, перешел на нос и стал оттуда дирижировать движением катера.

Тот, кто хоть раз пробирался через бары, знает, какую опасность представляют они даже для опытных моряков. Река, разрезающая прибой, образует здесь несколько длинных, очень крутых валов. В углублениях между ними почти видно дно. Сами же валы достигают высоты нескольких метров. Стоит зазеваться или неверно рассчитать движение катера, как река поставит суд-

---

<sup>1</sup> Карафуто — южная часть Сахалина.

но лагом к потоку и обрушит на голову несколько тонн холодной воды пополам с песком и камнями.

Иногда лодка втыкается носом в отмель, переворачивается вверх килем и накрывает тех, кто удержался на палубе. Я не вижу существенной разницы для команды, тем более что люди, купавшиеся на барах, могут рассказать о своих приключениях только водолазам.

Эти трезвые мысли всегда приходят мне в голову, когда по обоим бортам катера кувыркаются сучья, а воронки урчат, точно пустые желудки.

Риск для «Смелого» был особенно велик, потому что мы шли ночью, ориентируясь только по речной пене. Стоя на носу, Колосков поднимал то правую, то левую руку, как это делают на пароходах стивидоры, давая сигналы лебедчикам.

Медленно, точно волжская беляна, «Смелый» подполз к опасному месту, чиркнул днищем по отмели и вдруг застрял между двумя валами.

Косицын опустил футшок<sup>1</sup> и, забывшись, гаркнул: — Прон-о-с!..

Но и без футшока было заметно: «Смелый» не сел на бар. Мощная срединная струя с такой силой навалилась на катер, что я с трудом разворачивал руль.

«Смелый» повис между двумя толстыми выпучинами. Нос его уперся в невысокую, очень гладкую волну. Вода побежала по палубе, не переливаясь, впрочем, через ограждения люков, а за кормой пошла на буксире целая гора с тяжелым, готовым сорваться вниз гребнем.

Корпус «Смелого» стонал и вибрировал. Забрякала цепь в якорном ящике, задрожали поручни, стекла, затряслись двери, шкаф с посудой начал лязгать зубами, как в лихорадке. Казалось, кто-то, сильнее нас, схватил катер за гак и держит на месте.

Нам помогал прилив, но даже с мотором, работающим на полных оборотах, мы не могли взобраться на волну. Нос «Смелого» врезался в нее фута на два, и никакими силами нельзя было заставить его продвинуться дальше. Все остановилось, застыло вокруг нас: берега, буруны, время, чугунная волна за кормой...

---

<sup>1</sup> Футшок — шест для измерения глубин.

Один из люков машинного отделения был открыт. Я видел, как Сачков в тельняшке и холщовых штанах потчевал машину из долгоносой масленки. Измученная суточным переходом, она скрежетала, чихала, прыскала горячей водой и дымком... Сидя на корточках, Сачков вытирал тряпкой ее масляные бока и разговаривал с машиной, точно дрессировщик с упрямой собакой.

— А ну, давай еще раз! — бормотал он, плача от дыма. — Чудачка! Милая! Дьявол зеленый! Мурлыка! Дай пол-оборота... Честное слово... Ну, потерпи... Ну, еще...

Он понукал ее терпеливо и ласково, перекрывал краны, регулировал смесь и, тревожась, наклонял ухо к горячей рубашке мотора.

«Апчихи!.. Апчихи!.. Табба-бак!.. Табба-бак!..» — отвечал Сачкову движок.

Между тем Колосков, сидевший на носу, стал показывать признаки нетерпения. Он поглядывал то на берег, то на бары, поправлял ворот бушлата и наконец, подойдя к трубке, тихо напомним:

— Товарищ Сачков, о чем мы условились?

— Есть самый полный!

— Не вижу... Примерзли... Выжмите все...

— Есть выжать все! — ответил Сачков и снова зашептал над машиной.

Я слышал, как бойцы разговаривают с лошадьми, и лично знал одного младшего командира, составившего «Азбуку собачьего языка», но в первый раз был свидетелем беседы трезвого человека с мотором.

Видимо, они не могли сговориться, потому что Сачков выпрямился и наградил приятеля крепким шлепком.

— Не хочешь? — спросил он обиженно. — Ну, держись, черт с тобой.

Он встал и положил руку на рычажок дросселя. Стук перешел в скрежет. Машина завывала, точно влезая на гору.

— Идем... Еще немного... Идем! — зашипел Колосков на носу.

Катер сорвался с места, разрезал, смял волну и, поплеывая горячей водой, вошел в притихшую реку.

Нам пришлось пройти семь километров вверх по

течению, прежде чем мы отыскивали удобную стоянку. Река делала здесь крутой поворот, как бы решив вернуться обратно. Только невысокая гряда сопки, поросшая жимолостью, отделяла наш катер от моря. Мы снова слышали глухие взрывы прибоя.

Косицын выскочил на берег и принял конец. Но из кустов поднялась взлхмаченная собака с веревкой на шее. Вслед за ней зашевелились другие. Оказалось, что мы подошли прямо к собачьему стойбищу. Камчатские рыбаки и охотники на лето всегда привязывают ездовых собак возле реки. Их навещают раз в день, открывают яму с квашеной рыбой и бросают каждому псу по две горбуши.

Ездовой взвыл с перепугу. Его поддержали приятели. Целая сотня тощих, линяющих псов стала жаловаться нам на плохую кормежку, дожди, комаров и другие собачьи невзгоды.

Мы поспешно удалились от шумных соседей и через полчаса ошвартовались в узкой протоке, поросшей по обеим сторонам шеломайником. Здесь нам предстояло выждать появления «Саго-Мару» у Бурунного мыса.

Я собирался высушить бушлат и вздремнуть минут тридцать, но Колосков подошел ко мне и спросил уверенным тоном:

— Вы, конечно, еще не желаете спать, товарищ Олещук?

— Разумеется, нет, — сказал я, моргая глазами. — После похода всегда страдаешь бессонницей...

Колосков засмеялся. Его также сильно пошатывало.

— Так я и думал... — И продолжал, сразу изменив тон разговора: — Возьмите аппарат, телефонную катушку и вместе с Нехочиным отправляйтесь через сопки к Бурунному мысу. Замаскируйтесь и наблюдайте. Сообщения — раз в полчаса... В четыре вас сменят.

...Ночь была холодная и звездная. Заливистая собачья песня преследовала нас всю дорогу, пока мы, пробираясь через заросли жимолости, разматывали катушку.

Через час мы, ежась, лежали в мокрой траве, и в телефонной трубке шептал басок командира.

Новостей было мало. Колосков пожаловался на комаров, я — на холод. Потом мы слышали, как заши-

пел примус, и Колосков сообщил, что для нас варится кофе.

В море было свежо. Мы видели, как японские рыбаки оттащили кунгасы подальше от берега. Ни одна шхуна не прошла в эту ночь мимо бухты.

На следующий день шторм усилился. Мы оказались закупоренными в протоке. Особой беды в этом не было: хищники в такую погоду отсиживались на островах. Однако Колосков помрачнел: ему чудилось, что японцы высадились на побережье и обшаривают бобровые лежбища.

Защищенные от моря сопками, мы почти не чувствовали ветра. Люди высушили одежду, отдохнули. Сачков завел движок и включил электрический утюг. Ожил даже Косицын. Он снова стал улыбаться и даже уверял меня, что на Волге, возле Казани, бывают и не такие штормы.

Я отпросился у Колоскова и направился вверх по протоке — посмотреть, как горбуша мечет икру. Был июль — время нереста лососевых, рыба тучей шла с моря в пресную воду, с которой она рассталась два года назад.

Говорят, что кошки, если отнести их в мешке на другой край города, всегда отыщут свой дом. Однако у горбуши память крепче. Где бы лосось ни жил, хоть возле Африки или на Северном полюсе, а нереститься он обязательно придет в свою реку. В чужом море горбуша икру не оставит.

Не знаю, как объясняют ученые кочевки лосося, но меня всегда поражают эти странные стада, охваченные диким желанием пройти вверх, оставить потомство и умереть. В это время камчатские рыбаки вычерпывают рыбу, точно уху. В 1934 году лососи, задыхаясь в стае, выбрасывались на берег. На катере трудно было пройти по реке: винт рвал живое мясо.

...Я отошел от стоянки шагов на четыреста и лег в траву у самого берега. Вода дышала холодом. Прозрачная, как воздух, она прикрывала камни дрожащим мерцанием. Временами в глубине вспыхивали и гасли длинные белые искры: шел лосось. Течение реки показалось мне слабым. Я сломал ветку тополя и опустил ее в воду. Она тотчас выгнулась и затрепетала, точно от ветра.

Вскоре мои глаза притерпелись к резкому свету, и

я смог отличать рыбу от солнечных бликов на дне. Я видел, как самцы окружили мертвую горбушу. Она лежала на боку, красновато-сизая, белоглазая, широко разинув рот. Брюхо ее было плоско, как у всех рыб, отметавших икру. Смерть застала лосося тут же, на нерестовой площадке; в полуметре от хвоста горбуши беспокойно сновали самки, еще не освободившиеся от икры.

Четыре крупных, сильных самца вели себя возбужденно: били о каменистое дно хвостами, кружились, подталкивали дохлую горбушу носами. Иногда движения рыб становились такими стремительными, что над трупом возникал светящийся пузыристый круг. Мне пришла в голову нелепая мысль: рыбы, прощаясь с подругой, совершают погребальный воинственный танец. Потом я подумал, что самцы просто дерутся над падалью.

В конце концов мне надоело наблюдать эту бесконечную карусель. Так и не решив загадки, я поднялся еще выше по течению реки и остановился у глубокой протоки, преграждавшей мне путь.

В первый раз в жизни я видел, как солнце шевелит лучами. Они бродили по протоке, сталкивались, расходились, покрывали дно дрожащими бликами. Тысячи рыб поднимались к верховьям, с трудом пересиливая сильное течение. Высоко над водой черновато-зеленой стеной стоял шеломайник с резными тяжелыми листьями. Желтели ирисы, цвел шиповник, всюду виднелись могучие красноватые стволы медвежьей дудки и белые зонтики, развернутые на двухметровой высоте. Я пожалел, что на Камчатке не водятся пчелы.

Чтобы лучше видеть эту картину, я снял сапоги, закатал шаровары и отправился на середину протоки. Она оказалась мелкой, чуть выше колен, и такой холодной, что через минуту я перестал ощущать гальку на дне. Рыбы сначала струхнули и бросились врассыпную, но с моря подходили все новые косяки, и вскоре мои -посиневшие икры перестали смущать лососей.

Рыбы занялись своим делом. Прежде чем выбросить икру, самки выбирали подходящее место. Головой, плавниками, боками, хвостом они выбивали в каменистом дне небольшую ямку. У многих от безжалостных ударов тело превратилось в сизые лохмотья. Горбатые, обезображенные, с зубатой мордой, изогнувшейся, точно

клюв хищной птицы, они торопились расстаться с икрой и умереть. С верховьев реки течение уже сносило отнерестившуюся, полуживую рыбу.

В то время как самки расчищали хвостами дно, самцы стояли на страже. Метрах в пяти ниже по течению сповали гольцы — пятнистые, очень юркие рыбы, напоминавшие окраской и формой тела форель. Они ждали окончания нереста, чтобы броситься к ямке и сожрать икру... Не тут-то было! Самцы-горбуши, хотя и обессиленные путешествием, но более массивные, чем гольцы, отважно бросались на хищников.

Отогнав наглецов, они возвращались к самкам, подталкивали их головами, покусывали за хвост, точно желая, чтобы подруги поскорее расстались с опасным грузом.

Наконец я увидел, как в полуметре от моих ног самка, изгибаясь, помогая себе сильными рывками хвоста, выбросила на расчищенное дно бледно-розовые крупинки икры. Самец подскочил, облил их молокой, и обе рыбы стали забрасывать икру песком и галькой. Вскоре на дне образовался один из тех небольших бугорков, на которые я натыкался по дороге к середине протоки.

Покружившись над бугорком, супруги убедились в безопасности своего сокровища и медленно направились вверх по протоке.

Теперь движения их были нерешительны, вялы. Все для них было окончено. Обреченные на смерть, они не знали, как провести свои последние часы; подходили к чужим гнездам, кружились, отгоняли гольцов и наконец затерялись в мощном потоке рыб, поднимавшихся с моря...

Набежали облака, подул ветер, воду подернуло рябью. Лязгая зубами, я вылез на берег и стал растирать онемевшие икры. Мне было немного досадно. Бродить всю жизнь в чужих морях, вернуться под старость в родную воду и перевернуться вверх брюхом, не увидев потомства. На это способны только такие бродяги, как лососи!

На обратном пути я остановился возле места, где «танцевали» четыре самца. Дохлой горбуши уже не было видно. Я обшарил глазами дно и с трудом отыскал хвост рыбы, торчавший из гальки. Видимо, ин-

стинкт, помогающий лососю выбрать для икрометания самую чистую воду, заставил самцов прикрыть пададь песком и камнями.

Через полчаса я вернулся на борт. Колосков разговаривал с берегом. Сачков драил шкуркой бензинопровод: как у всякого механика, у него чесались руки, когда он видел кусочек меди или латуни.

Он выслушал рассказ о моих наблюдениях без всякого интереса.

— Закон природы, — сказал он, зевнув. — Рыбы мечут икру, дерутся, естественно,дохнут... Поймал хоть одну?

— Не в том дело. Надо сущность понять.

— Ну, ясно, — сказал он смеясь, — снять штаны — и в протоку!.. Боюсь, из тебя все-таки Дарвин не выйдет.

Спорить с ним было нельзя. Изо всех существ на земле Сачков считал достойными уважения только двух: человека и четырехтактный мотор. Все-таки я решил напомнить ему о ночном монологе.

— Бывают чудачки позанятней... Я слышал, как один моторист беседовал с движком...

Сачков немного смутился.

— Быть может, это помпа шумела? — спросил он осторожно. — Когда эта чертовка визжит, мне самому кажется, будто кто-то...

— Ну, нет! Я могу повторить хоть при всех.

Мы посмотрели друг другу в глаза.

— Знаешь, Алеша, — заметил миролюбиво Сачков, — мне сдается, что нерест — довольно занятная штука... Особенно рыба пляска или драка с гольцами.

— А ты бы чаще смазывал помпу, — посоветовал я. — Кажется, она действительно иногда заговаривает.

Команда стала готовиться к встрече со шхуной. Сачков сменил смазку, осмотрел винт и выслушал мотор с помощью стетоскопа из шомпола и мембраны. Я проверил шпангоуты<sup>1</sup> и навел на выхлопной трубе зеле-

---

<sup>1</sup> Шпангоут — ребро корпуса корабля.

ную полосу — знак пограничного катера. Косицын принялся тренироваться в передаче донесений флажками, а Колосков, третий месяц учивший японский язык, сидел в кают-компании, без конца повторяя:

— Коиници-ва! — Здравствуйте! Даре-га сенчоо-сан? — Кто капитан? Коно фунева нан-то мооси масука? — Как называется это судно? Доко-кара китта-но дэс-ка? — Откуда пришли?

Потом он начинал командовать, как будто мы уже задержали и взяли хищника на буксир:

— Юкинасай! — Пойдем! Торикадзи, омокадзи! — Право руля, лево руля!

...Шли вторые сутки. Ветер упал, но шхуна не возвращалась. Каждые полчаса с берега сообщали:

— Туман... Видимость скверная... Рыбаки выгружают четыре кунгаса... Шхуны не обнаружено...

Колосков помрачнел. Он ничего не говорил Сачкову, но видно было — старшина жалеет, что пошел на сомнительную авантюру. Ожидание стало особенно тягостным, потому что со всех сторон слетались комары. Уссурийские тигры — ягнята по сравнению с этими неистово кровожадными тварями. Воздух был тускло-серый и звенел, точно балалаечная струна. Кожа наша горела даже под бушлатами. Мы дышали комарами, ели их с кашей, глотали с чаем.

Люди мазались черемшой<sup>1</sup> и мазутом, делали накомарники из тельняшек, заматывали полотенцами шею, курили махорку пополам с хвоей и листьями. А полчища все прибывали. Стоило провести рукой по шее, как ладонь оказывалась в крови.

Колосков держался бодрее других. У него совсем заплыли глаза и шея приняла оттенок давленной вишни, но он твердил довольно настойчиво:

— А что? Разве кусают? Вот ер-рунда!

Ночью под одеялом он скрипел зубами.

На третий день во время обеда пошел сильный теплый дождь, сразу облегчивший наши мучения. Мы сидели в кают-компании, доедая консервы, и слушали, как ливень хлещет по палубе.

Кто-то заметил, что «Саго-Мару» ушла на ремонт в Хакодате. Шутника поддержали. Посыпались дружес-

---

<sup>1</sup> Черемша — дикий чеснок.

ские, но увесистые остроты насчет нашего рыбьего положения, гипотенузы без катетов и возраста дизеля. Больше всего, конечно, доставалось самому Сачкову. Честный малый сидел, моргая глазами, не зная — засмеяться или рассвирепеть.

Командир немедленно взял под защиту Сачкова.

— Это еще что за цирк? — заметил он строго. — Мысль правильная... Установка верна... А в чужой борщ перец не сыпьте. Прошу.

Мы приготовились к дальнейшему разносу, но в это время зарокотал телефон. Продолжая ворчать, Колосков снял трубку и вдруг, обернувшись к Сачкову, быстро завертел рукой в воздухе.

— Есть! — ответил Сачков, отставил тарелку и бросился в машинное отделение.

Мы помчались...

С тех пор прошло больше трех лет, но до сих пор я вижу мохнатую от дождя реку, низкий берег, бегущий вровень с бортом, и напряженное, исхлестанное ливнем лицо Колоскова, а когда закрываю глаза, слышу, как снова стучит, торопится, бьется мотор... быть может, сердце — не знаю.

Сачков взял от дизеля все, что мог, плюс пятьдесят оборотов. Течение горной реки и наше нетерпение еще больше увеличили скорость катера.

«Смелый» мчался, распарывая реку, с такой быстротой, что рябило в глазах. Навстречу нам с моря поднимались косяки рыбы. Мы слышали глухие удары лососей о корпус. Временами, испуганная движением катера, рыба выпрыгивала из воды, изогнувшись серпом.

Берега расступились. Стало заметно светлее. Сквозь ливень мы не увидели моря: оно напоминало о себе сильным и свежим дыханием.

— Ну, держитесь! — вдруг сказал Колосков.

Он поправил фуражку, поставил ноги шире и тверже, и в то же мгновение я почувствовал, что глотаю не воздух, а соленую воду вместе с песком. Что-то тяжелое, мутно-желтое тащило меня с палубы, висело на плечах, подламывало ноги. Я схватился за трап с такой силой, что, оторви меня волна, на поручнях остались бы кулаки.

Катер с размаху било днищем о гальку. Он шел

скачками, вибрируя и треща. Мы стояли по пояс в воде, море врывалось в машинные люки.

...И сразу все стихло. Мы снова неслись среди пены. Бары громоздились сзади — светло-желтые трехметровые складки воды. Нерпы, всегда караулящие лососей в устьях рек, подняли свои кошачьи головы, с удивлением разглядывая катер. «Смелый» прошел от нерп так близко, что я видел их круглые темные глаза.

Было время отлива. С берегов тянуло запахом йода, всюду лежали темно-зеленые волнистые плети морской капусты. Каменистая отмель, отгораживавшая залив от реки, сильно просвечивала сквозь желтую воду.

Мы не замечали ни холода, ни мокрых бушлатов. «Саго-Мару» была здесь, поджарая, нахальная, с двумя красными иероглифами, похожими на крабов, прибитых к корме.

Она только что открыла люки и готовилась к погрузке лосося, когда «Смелый» обогнул отмель и загородил выход в море.

Гипотенуза короче двух катетов! Это понял наконец и синдо. «Саго-Мару» закричала фистулой, зовя к себе лодки, заметалась, ища выхода из ловушки, и наконец в отчаянии бросилась к отмели.

Мы услышали звук, похожий на треск раздираемой парусины. Рыбаки на палубе шхуны попадали один на другого.

Моторист «Саго-Мару» заглушил дизель. Стало тихо. Японцы стояли на палубе и понуро наблюдали за нами.

Мы спустили тузик<sup>1</sup> и направились к шхуне, чтобы составить акт. В это время рыбаки, точно по команде, стали прыгать в воду. Последним, сняв желтый халатик, нырнул синдо. Перепуганные ловцы изо всех сил спешили к нашему тузику.

Что-то странное творилось на шхуне. Палубу «Саго-Мару» выпучило, затрещали доски, посыпались стекла. Казалось, что шхуна, объевшись рыбой, раздувается от обжорства. Из всех иллюминаторов и щелей полз белый густой дым.

Колосков подозрительно понюхал воздух.

— Табаны!<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Тузик — маленькая двухвесельная лодка.

<sup>2</sup> Табанить — тормозить.

Его команду заглушил сильный взрыв. Корму «Саго-Мару» точно отрезало ножом. Рубка отделилась от палубы и упала в воду метрах в тридцати от нас. Косицу чем-то острым рассекло кисть руки.

Вода вокруг шхуны приняла мутно-белый оттенок и сильно шипела.

Причина взрыва стала ясна, как только мы почувствовали характерный сладковатый запах ацетиленов.

Японские рыбаки, устанавливая сети на больших морских площадях, отмечают их фонарями, чтобы пароходы не разрушили это хозяйство. На каждой шхуне можно всегда найти банки с карбидом для фонарей.

Налетев с размаху на камень, «Саго-Мару» пропорола днище. В двухметровую щель хлынула вода и тотчас затопила отсек, где хранился карбид. Взрыв мог быть еще сильнее, если бы палуба оказалась покрепче.

...Мы выловили и приняли на борт девятнадцать рыбаков. Перепуганные катастрофой, они стояли на баке, дружно выбивая зубами отбой. Боцман, недавно дразнивший Колоскова, кланялся и шипел с таким подхалимским видом, что Косицына чуть не стошнило.

Закончив формальности и сфотографировав шхуну, мы направились в море.

Я вел катер всего метрах в двухстах от завода, но Колосков велел подойти еще ближе.

— В целях воспитания, — заметил он строго.

Дождь кончился. Высоко над отмелью, где дымился остров «Саго-Мару», прорезался бледный солнечный диск.

В последний раз я оглянулся на берег. Возле конторы на мачте еще висел вымокший конус. Рыбаки сидели у пристани на катках и ждали кунгасов.

Я подумал, что с берега мокрые фигуры хищников видны хорошо.

1938

## Бёри-бёри<sup>1</sup>

Предупреждаю заранее: тот, кто ждет занятных морских приключений, пусть не слушает эту историю.

<sup>1</sup> Бёри-бёри — болезнь, родственная цинге, вызывается однообразной и скудной пищей.

Я не могу обещать ни тумана, ни шторма, если в вахтенном журнале сказано ясно: солнце, штиль, температура плюс 20 в тени.

Да, было так жарко, что смола выступала из палубы. Мы медленно входили в бухту Медвежью, лавируя меж островков и камней. Люди отдыхали на баке<sup>1</sup>, еле шевеля языками. Тень от мачты — короткая, синяя — неподвижно лежала на палубе. Корабельная медь слепила глаза. Только плеск воды да белые крылья чаек напоминали нам о прохладе.

Мы надеялись пополнить в бухте запасы воды. Снег на сопках здесь держится долго — до конца июля, даже до августа, и десятки горных ручьев, разогнавшись в ущельях, с огромной высоты падают в бухту. Самые слабые никогда не долетают до берега, ветер подхватывает их на лету и превращает в белую пыль, но два или три водопада соединяют сопки и море высокими дугами. На фотографиях они выходят сосульками, но, право, я не видел более сильной картины, чем эти светлые, грохочущие столбы, врезанные в зеленую воду до самого дна.

Был уже слышен шум ручьев, когда вахтенный крикнул:

— Японец! Слева по носу!

Возле самого берега стояла двухмачтовая черная шхуна.

Колосков, мельком глянув на шхуну, твердо сказал: — Полкорпуса влево... так держать!

В таких случаях счет идет на секунды. Не успели хищники выбрать якорь, как двое бойцов разом прыгнули на палубу шхуны.

Она была пуста. «Гензан-Мару» (Колосков разобрал надпись за десять кабельтовых) даже не попыталась бежать, точно к ней подошел не пограничный катер, а собственный тузик.

А между тем в воздухе пахло крупным штрафом: на бамбуковых шестах вдоль борта висели влажные сети.

Сачков заглушил мотор и выглянул из люка.

— Стоило гнать! — сказал он с досадой. — Вот мухобой! Бабушкин гроб!

Судя по мачтам, слишком массивным для мотор-

---

<sup>1</sup> Б а к — верхняя палуба от передней мачты до носа судна.

ного судна, во времена Беринга это был парусник с хорошей оснасткой. Плавные, крутые обводы говорили о мореходности корабля, четыре анкерка с пресной водой — о дальности перехода. Под бушпритом шхуны, вынесенным метра на три вперед, была прикреплена грубо вырезанная из какого-то темного дерева фигура девушки с распущенными волосами. Наклонив голову, красавица уставила на нас обведенные суриком слепые глаза. Время, соль и толстые наслоения масляной краски безобразно исказили ее лицо.

Мы молча разглядывали шхуну.

Видимо, хозяева рассчитывали на страховую премию больше, чем на улов рыбы: сквозь дыры в бортах могли пролезть самые жирные крысы.

— Эй, аната!<sup>1</sup> — крикнул Колосков.

Циновка на кормовом люке приподнялась. Тощий японец с головой, повязанной синим платком, равнодушно взглянул на нас.

— Бьонин дес<sup>2</sup> — сказал он сипло.

— Эй, вы, кто синдо?

— Бьонин дес, — повторил японец монотонно, и крышка снова захлопнулась.

Колосков спустился в каюту, чтобы надеть свежий китель. Наш командир был особенно щепетилен, когда дело доходило до официальных визитов.

— Товарищ Широких, — сказал он, — найдите синдо, выстройте японскую команду по правому борту.

— Есть выстроить! — ответил Широких.

Это был серьезный, очень рассудительный сибиряк, с лицом, чеканенным оспой, белыми бровями и славной, чуть сонной улыбкой, которой он встречал остроты Сачкова и кока. Кроме обстоятельной, чисто степной медлительности, он отличался бычьей силой, которой, впрочем, никогда не хвастался.

Помню случай, когда, погрузившись в воду по пояс, Широких переносил со шлюпки на берег двенадцатипудовый якорь. И это в свежую погоду, на ослизлых, крупных камнях!

На «Смелом» он служил рулевым.

Громя сапогами, Широких прошел по палубе, поднял циновку и присел на корточки перед люком.

---

<sup>1</sup> Эй, вы!

<sup>2</sup> Больной.

— Ваша который синдо? — спросил он деловито. — Ваша бери люди, ходи быстро на палубу.

В ответ из кормового люка вырвался стон.

Мы видели, как Широких перекинул ноги и с трудом протиснулся в узкое отверстие. В трюме загалдели, затем сразу стихло.

— Уговорил! — сказал Сачков посмеиваясь.

Но Широких не показывался. Шхуна по-прежнему казалась мертвой. На палубе блестела сухая тресковая чешуя. Только несколько ярких фундоси, подвязанных бечевками к вантам, напоминали о жизни на корабле.

Наконец из трюма вылез Широких. Он был краснее обычного и осторожно, точно ядовитую гадину, держал вытянутой рукой какую-то бумажку.

— Товарищ лейтенант! — загудел он еще с палубы шхуны. — Разрешите доложить. Произведен осмотр кормового трюма. Обнаружено одиннадцать хищников, в том числе синдо. Трое показывают заразные признаки. Остальные чирьев на спине не имеют... Вступают в пререкания. Лежат пагишом.

— Какие чирьи... Вы что?

— Надо полагать — чумные... Стонут ужасно.

— Что вы болтаете? — возмутился Колосков. (Он был в новой форме с двумя золотыми нашивками и фуражке со свежим чехлом.) — Идите сюда... Нет, стойте. Покажите письмо.

Широких передал клочок, на котором печатными русскими буквами было выведено:

«Помогите. Заразно. Сибировска чумка. Весьма просим россэке доктор».

Если бы японцы специально задались целью смутить Колоскова, — лучшего средства они бы не придумали. Бравый балтиец, человек зрелого, спокойного мужества, он по-детски боялся всего, что пахнет больницей. В двадцать лет, на фронте, Колосков впервые узнал от ротного фельдшера о бациллах — возбудителях тифа. Здоровяк и остряк, он всенародно поднял лектора на смех (в те годы Колосков был твердо уверен, что все болезни заводятся от сырости). Но когда упрямец увидел в микроскоп каплю воды из собственной фляжки, он заметно опешил. По собственному признанию Колоскова, его точно «снарядом шарахнуло». Странные полчища палочек, шариков, точек поразили вообра-

жение моряка. С прямолинейностью военного человека Колосков решил действовать, прежде чем «гады», кишевшие всюду, доведут моряка до соснового бушлата.

Он привил оспу на обе руки, завел бутылъ йода и принялся старательно мазать свои и чужие царапины. Гадюка над рюмкой<sup>1</sup> стала в его глазах знаком высшей человеческой мудрости.

С тех пор прошло двадцать лет, но если вы увидите когда-нибудь моряка, который пьет кипяченую воду или снимает с яблока кожуру, — это будет наверняка Колосков.

Понятно, что при слове «чума» командир немного опешил. Если бы хищники открыли огонь или попытались бы уйти у нас из-под носа, Колосков мгновенно нашел бы ответ. Но тут, глядя на пустынную палубу шхуны, командир невольно задумался. Опыт и природная осторожность не позволяли ему верить записке.

— Доложите... какие признаки вы заметили?

— Очень дух тяжелый, товарищ начальник.

— Это рыба... Еще что?

— На ногах черные бульбочки... Кроме того, в глазах воспаление.

Но Колосков уже поборол чувство робости.

— От тухлой трески чумы не бывает... Растравили бульбочки... Симулянты... Впрочем, ступайте на бак. Возьмите зеленое мыло, карболку... Понятно? Чтобы ни одного микроба!..

...В тот год я совмещал должность рулевого с обязанностями корабельного санитаря... Открыв аптечку, я нашел сулему и по приказанию командира смочил два платка. Он приказал также надеть желтые комбинезоны с капюшонами, которые применяются во время химических учений.

Прикрывая рот самодельными масками, мы поднялись на борт «Гензан-Мару» и внимательно осмотрели всю шхуну.

Это была посудина тонн на триста, с высоким фальш-бортом, переходящим на корме в нелепые перильца с балясинами, какие попадаются только на провинциальных балконах.

Японские шхуны никогда не отличаются свежестью

---

<sup>1</sup> Змея и чаша — эмблема медицинских работников.

запахов, но эта превосходила все, что мы встречали до сих пор. Палуба, решетки, деревянные стоки пропитались жиром и слизью. Сладкое зловоние отравляло воздух на полмили вокруг.

Все здесь напоминало о трудной, жалкой старости корабля. Голубая масляная краска, покрывавшая когда-то надстройки, свернулась в сухие струпья. Медный колокол принял цвет тины. Всюду виднелось серое, омертвелое дерево, рыжее железо, грязная парусина. Дубовые решетки, прикрывавшие палубу, и те крошились под каблуками.

Зато лебедка и блоки были только что выкрашены суриком, а новые тросы ровнехонько уложены в бухты. Сказывалось старое правило японских хозяйчиков: не скупиться на снасти.

Два носовых трюма, прикрытых циновками, были доверху набиты камбалой и треской. Влажный блеск чешуи говорил о том, что улов принят недавно.

— Ясно, симуляция, — зло сказал Колосков.

Мы заглянули в кормовой кубрик и позвали синдо. Нам ответили стоном. Кто-то присел на корточки и завыл, схватившись обеими руками за голову. Вой подхватило не меньше десятка глоток. Трудно было понять: то ли японцы обрадовались появлению живых людей, то ли жаловались на жару и зловоние в трюме.

Тощий японец в вельветовой куртке, с головой, замотанной полотенцем, кричал сильнее других. Упираясь лопатками и пятками в нары, он выгибался дугой и верещал так, что у нас звенело в ушах.

В полутьме мы насчитали девять японцев. Полуголые, мокрые от пота парни лежали вплотную. Несколько минут мы видели разинутые рты и слышали завывание, способное смутить любого каюра<sup>1</sup>. Затем Колосков кашлянул и твердо сказал:

— Эй, аната! Однако довольно.

Хор зачумленных грянул еще исступленнее. Казалось, ветхая посуда заколебалась от крика. Многие даже забарабанили голыми пятками.

Это взорвало Колоскова, не терпевшего никаких пререканий.

---

<sup>1</sup> К а ю р — в полярных областях погонщик собак, запряженных в нарты.

Он крикнул в трюм, точно в бочку:

— Эй, вы... Смир-но!

И все разом стихли. Стало слышно, как в трюме плещет вода.

— Где синдо?

Крикун в вельветовой куртке вылез из кубрика и, путая японскую, английскую и русскую речь, пояснил, что самые опасные больные изолированы от остальных. Продолжая скулить, он повел нас к носовому кубрику.

В узком, суженном книзу отсеке лежали на циновке еще трое японцев.

— Варуй дес... Тайхен варуй дес<sup>1</sup>, — сказал синдо довольно спокойно.

С этими словами он взял бамбуковый щест и бесцеремонно откинул тряпье, прикрывавшее больных.

Мы увидели мертвенную, покрытую чешуйками грязи кожу, черные язвы, чудовищно раздутые икры, оплетенные набухшими жилами. Ребра несчастных выступали резко, точно обнаженные шпангоуты шхуны. Видимо, больные давно мочились под себя, так как резкий запах аммиака резал глаза.

Люди заживо гнили в этом душном логовище с грязными иллюминаторами, затянутыми зеленой бумагой.

Возле больных, на циновках, усыпанных рыбьей чешуей и зернами сорного риса, стояли чашки с кусками соленой трески.

— Бедный рыбачка! Живи — нет. Помирай — есть, — сказал провожатый.

Точно по команде, трое японцев протянули к нам ужасные руки — почерневшие, скрюченные, изуродованные странной болезнью. Не знаю, как выглядят чумные, но более грустного зрелища я не встречал никогда.

Синдо знал полсотни русских и столько же английских фраз. Путая три языка, он пытался рассказать нам о бедственном положении шхуны.

— ...Это было в субоцу... Сильный туманка... Ходил туда, ходил сюда... Скоси мо мимасен<sup>2</sup>. Наверно, компас есть ложный... Немного брудила... Вдруг падай Арита... Одна минуца — рыбачка чернеет. Like coal<sup>3</sup>. Дру-

---

<sup>1</sup> Плохо, очень плохо.

<sup>2</sup> Ничего не видно.

<sup>3</sup> Как уголь!

гая минуца — падай Миура... третья минуца — Тояма. Коматта-на! Вдруг берег! Чито? Разве это росскэ земля? Вот новость!

Колосков спокойно выслушал бредовое объяснение и, глядя через плечо синдо на больных, сухо сказал:

— Хорошо... Где поймана рыба?

— Са-а... Он всегда был здоровячка, — ответил грустно синдо. — Что мы будем рассказывать его бедной отце и маць?

— Я спрашиваю: когда и где поймана рыба?

— Да, да... Арита горел, как огонь. Наверно, есть чумка.

— Не понимаете? Рыба откуда?

— Ей-бога, не понимаю, — сказал пройдоха, кланяясь в пояс. — Мы так боялся остаться один.

Он махнул рукой, и зачумленные дикими воплями подтвердили безвыходность положения.

Мы вышли на палубу, провожаемые столами больных и бормотанием синдо. Колосков сердито сорвал сулемовую маску.

— Вы когда-нибудь видели чуму?

— Только на картинках, — признался я.

— Любопытно.

— Да... Рыба свежая.

Я хотел на всякий случай отобрать у японцев лампу для нагрева запального шара мотора, но Колосков не разрешил мне спуститься в машинное отделение.

— Понимать надо, — сказал он строго. — Чума не репейник — с рукава не стряхнешь.

Вести шхуну в порт было нельзя. Мы запросили отряд и через десять минут получили ответ: «Врач, санитары высланы. Снимите, изолируйте наш десант. Отойдите шхуны, наблюдение продолжайте...»

И мы стали ждать.

Нам предстояло провести с глазу на глаз с зачумленной шхуной шесть часов.

Был полдень, солнечный, душный, несмотря на окружающие бухту снежные сопки. Вокруг шхуны островками плавала пена и раздувшиеся от жары кишки кашалотов — верный признак, что китобойная флотилия находится недалеко. Издали кишки походили на связки

ржавых, очень толстых корабельных цепей. На островках-желудках сидели нарядные и крикливые чайки.

Палуба «Гензан-Мару» кишела мухами. Вскоре они стали попадаться в кубриках «Смелого». Колосков велел отойти от шхуны на два кабельтовых.

Обедали плохо. Борщ, хлеб, жаркое, даже горчица пахли карболкой. По приказанию командира наш кок Костя Скворцов обходил корабельные помещения с пульверизатором, ежеминутно наполняя бутыл свежим раствором.

— Все по порядку, — объяснял он, сияя голубыми глазами, — сначала карболка, потом хлор. Белье в печку... Прививка... Потом карантин на три недели...

Костя был немного паникер, но на этот раз многие разделяли его опасения.

Шхуна стояла рядом, безлюдная, тихая, и в тишине этой было что-то зловещее.

Хуже всех чувствовал себя Широких. Вымытый зеленым мылом и раствором карболки, он сидел на баке притихший, голый по пояс, а мы наперебой старались ободрить товарища.

Все мы искренне жалели Широких. Он был отличный рулевой, а на футбольной площадке левый бек. Что теперь ждало парня? Терпеливый, толстогубый, очень серьезный, он бил слепней и, вздыхая, смотрел на товарищей.

Мы утешали Широких как могли.

— Мой дядя тоже болел в Ростове холерой, — сказал рассудительно кок. — Он съел две дыни и глечик сметаны... Ну, так эта штука страшнее чумы. Три дня его выворачивало наизнанку. Он стал тоньше куриной кишки и так ослаб, что едва мог показать родным дулю, когда его вздумали причастить... Потом приехал товарищ Грицай... Не слышали? Это наш участковый фельдшер. Промыл дяде желудок и впрыснул собачью сыворотку.

— Телячью...

— Это все равно. Наутро он помер.

— Иди-ко ты, — сказал Широких, поежившись.

— Так то холера... Думаешь, уже заболел? Посмотри на себя в зеркало...

Широких дали термометр. Он неловко сунул его под мышку и совсем нахохлился.

— Знобит?

— Есть немного.

Митя Корзинкин — наш радист — принес и молча (он все делал молча) сунул Широких пачку сигарет «Тройка», которые хранил до увольнения на берег.

— В крайнем случае можно перелить кровь, — сказал боцман. — Сложимся по пол-литра.

— Главное, Костя, не поддавайся.

— Ты не думай о ней... Думай о девочках.

— Это верно, — сказал Широких покорно. — Надо думать...

Он сморщил лоб и стал смотреть в воду, где прыгали зайчики.

Обедал Широких в одиночестве. Он съел миску каши, двойную порцию беф-строганов и пять ломтей хлеба с маслом. Кок, с которым Широких постоянно враждовал из-за добавок, принес литровую кружку какао.

— Посмотрим, какой ты больной, — заметил он строго.

Широких подумал, вздохнул и выпил какао. Это немного всех успокоило.

— Видали чумного? — спросил кок ехидно.

В конце концов, видя, что общее сочувствие нагоняет на парня тоску, Колосков запретил всякие разговоры на баке.

Все занялись своим делом. Радист принялся отстукивать сводки, Сачков — чинить донку, Косицын — драить решетки на люках.

Один Широких с тоской поглядывал по сторонам. У парня чесались руки.

— Дайте мне хоть марочки делать...

Боцман дал ему кончик дюймового троса, и Широких сразу повеселел, заулыбался, даже замурлыкал что-то под нос.

Колосков ходил по палубе, надвинув козырек фуражки на облупленный нос, и изредка метал подозрительные взгляды на шхуну.

Наконец он подошел к Широких и спросил тоном доктора:

— Колики есть?

— Нет... то есть немного, товарищ начальник.

— Судороги были?..

— Нет еще...

— Ну, и не будут, — объявил неожиданно Колосков и сразу гаркнул: — Баковые, на бак!.. С якоря сниматься!

Мы развернулись и, сделав круг, подошли к шхуне поближе. Синдо тотчас высунул из люка обмотанную полотенцем голову.

— Эй, аната! — крикнул Колосков громко. — Ваша стой здесь... Наша ходи за доктором.

Услышав, что мы покидаем шхуну, больные подняли было оглушительный вой. Видимо, все они боялись остаться одни в далекой, безлюдной бухте, но синдо сразу успокоил испуганных рыбаков.

— Хорсо-о... Хорсо-о, — пропел он печально, — роскэ доктору... Хорсо-о.

Он повесил голову, согнул ноги в коленях и застыл в робкой позе — живая статуя отчаяния.

Бухта, в глубине которой стояла «Гензан-Мару», изгибалась самоварной трубой. Когда мы миновали одно колено и поравнялись с невысокой скалой-островом, я невольно взглянул на командира.

— Здесь?

— Ну конечно, — сказал Колосков.

Скала прикрывала нас с мачтами. Лучшее место для засады трудно было найти. На малых оборотах мы проползли между каменными зубами, торчавшими из воды, и стали в тени островка.

— Значит, симуляция? — спросил боцман. — Так я и думал...

Широких заулыбался и натянул тельняшку.

— Могу быть свободным?

— После осмотра врача, — ответил неумолимый Колосков.

Мы заглушили мотор и стали прислушиваться. Спугнутые катером чайки носились над мачтами, чертыхаясь не хуже базарных торговки. Сквозь птичий гвалт и плеск волны, оббегающей остров, долетал временами прерывистый стук мотора. Видимо, японцы пытались запустить остывший болиндер<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Болиндер — двигатель.

Услышав знакомые звуки, Колосков вытянул шею, заулыбался и зашевелил усами. Он стал похож на заядлого удильщика, у которого вдруг затанцевал поплавок.

На островок набежала волна. Стук мотора стал ближе и резче. Вдруг мотор поперхнулся... помолчал полминуты... застучал снова, на этот раз неровно и глухо.

Мы завели мотор. Люди стали по местам. «Смелый» дрожал, готовый кинуться за наглецами в погоню.

И вдруг боцман разочарованно крикнул с кормы: — Фу ты, черт! Смотрите...

В десяти метрах от нас, в расщелине между камнями, лежал перевернутый бат<sup>1</sup>, видимо, унесенный из поселка рекой. Каждый раз, когда набегала волна, лодка билась о стены, издавая отрывистые и ритмичные звуки.

Мы были так раздосадованы неожиданной шуткой моря, что не поверили ушам, когда за поворотом послышалось знакомое всем морякам «таб-бак, таб-бак».

Но это была «Гензан-Мару». Она вылетела из-за мыска метрах в пятидесяти от нас, поплеывая горячей водой, и помчалась к открытому морю. Из трубы шхуны кольцами летел дым, винт свирепо рвал воду, а вся команда толпилась на палубе. Чумный синдо рысцой бежал по палубе, подгоняя чумных матросов. Чумный боцман, лежа на животе, доставал крючком якорь, цеплявшийся за волну.

Заметив нас, «Гензан-Мару» вильнула в сторону, но Колосков спокойно приказал лечь на параллельный курс. Мотор шхуны был слишком слаб для тяжелого корпуса, а наш движок работал чудесно.

Через десять минут японцы заглушили болиндер, и Колосков, захватив меня и Косицына, поднялся на палубу шхуны. Он был взбешен японским нахальством и, стараясь сдержаться, говорил очень тихо. Синдо шипел и пятился задом, кланяясь, как заведенный.

— Как ваши... очумелые? — спросил Колосков.

— Благодарю... Наверное, очень плохо...

— Что же не дождались доктора?

— Са-а... Помирай здесь, помирай дома... Бедный рыбачка думай все равно.

---

<sup>1</sup> Б а т — лодка, выдолбленная из ствола дерева.



Он начал было снова скулить, но Колосков разом успокоил синдо.

— Ну-ну, — сказал он сухо, — я думаю, до тюрьмы вам ближе, чем до могилы.

Вскоре подошел катер с доктором, и все сомнения наши рассеялись. Чумных на шхуне было столько же, сколько на нашем катере архиереев.

Сам синдо признался в мошенничестве. Шхуна заметила катер слишком поздно, а скорость старой посудины, до отказа набитой треской, была смехотворна. Тогда на шхуне молниеносно возникла чума. Вопли и записка были только трюком, рассчитанным на простаков. По словам синдо, они дважды применяли этот прием у берегов Канады, и оба раза катер рыбного надзора поспешно уходил от «Гензан-Мару».

Трое рыбаков во время проверки не вышли на палубу. Но это не были симулянты. Бёри-бёри — болезнь бедняков, частый гость рыбацких поселков и шхун — свалила ловцов на циновки.

Эта болезнь — сестра голода. Сорный рис и соленая рыба, которыми постоянно питаются рыбаки, доводят их до полного изнурения.

Ловцы «Гензан-Мару» заболели еще весной. Сначала они пытались скрыть признаки бёри-бёри, выполняя нелегкие обязанности наемных ловцов наравне с прочими рыбаками. Но люди на шхунах спят на общих циновках, почти нагишом...

По правилам, больных следовало немедленно высадить на берег, однако синдо рассудил, что до конца сезона рыбаки смогут хотя бы отработать аванс.

Им дали «легкую» работу: наживку крючков и резку пойманной рыбы (разумеется, за половинную плату).

Они честно отработали хозяину полсотни иен, и сухую треску, и куртки из синей дабы, а теперь терпеливо ждали конца. Судя по запавшим глазам и омертвевшим конечностям, он был недалек. У одного из рыбаков уже начиналась гангрена: обе ноги до колен были пепельно-черного цвета.

Пройдоха синдо отлично использовал зловещие признаки бёри-бёри. Нарывы и язвы, покрывавшие тела рыбаков, он выдал за приметы чумы.

Колосков приказал дать больным макароны, кофе и масло. Они не притронулись к пище. А когда санитар

снова навестил рыбаков, тарелки каким-то чудом оказались в подшкиперской.

— Эти люди не привыкли к высокой пище, — сказал спокойно синдо.

Вечером мы снялись с якоря и повели «Гензан-Мару» в отряд. Шхуна шла вслед за «Смелым» своим ходом. Носовой люк был открыт — на потолке горела «летучая мышь». Стоя у неуклюжего штурвала, я видел безнадежно покорные лица больных.

Они ждали. Им было все равно...

Набежал ветер. «Гензан-Мару» стала раскачиваться и клевать носом.

Черная мачта шхуны выписывала в небе восьмерки, задевая концом за звезды; то одна, то другая звезда срывалась с места и, оставив трепетный след, падала в темное, смутно шипящее море...

На рассвете приблизился «Смелый». Я сдал вахту Широких, перебрался на катер и крепко заснул.

1939

## **Комендант Птичьего острова**

### **I**

Это была на редкость упрямая шхуна. Прежде чем заглушить мотор и вывесить кранцы, «Кобе-Мару» предложила игру в прятки, встав в тени за скалой. Когда этот фокус сорвался, она стала метаться по бухте, точно треска на крючке... Затеяла глупую гонку вокруг двух островков, пыталась навести «Смелый» на камни, ударить форштевнем<sup>1</sup>, подставить корму — словом, повторила все мелкие подлости, без которых эти господа никогда не обходятся.

Оберегая корпус «Смелого» от рискованных встреч, Колосков долго водил катер параллельными курсами.

Мы были мокры, злы и от всего сердца желали шхуне напороться на камни. Боцман Гуторов, уже полчаса стоявший на баке с отпорным крюком, высказал это

---

<sup>1</sup> Форштевень — носовая оконечность судна.

резонное желание вслух и немедленно получил замечание от командира.

— А допрашивать эпроновцы будут? — ворчливо спросил Колосков. — Эк жмет! Чует кошка...

Увлеченный погоней, он не пытался даже вытирать усеянное брызгами, свежее от холода и ветра лицо. Он стоял на ходовом мостике, щурясь, посапывая, не отрывая глаз от низкой кормы, на которой, точно крабы, выделялись два больших нероглифа.

Наконец ему удалось подойти к японцу впритирку, и двое бойцов разом вскочили на палубу шхуны.

— Конници-ва! Добру день! — сказал присмиревший синдо.

Он стоял на баке возле лебедки и кланялся, точно заведенный. Сети были пусты. В трюмах блестела чешуя давних уловов. Зато вся команда была, как по форме, одета в свежую, еще не обмятую работой спецовку. Высокие резиновые сапоги (без единой заплатки), подтянутые шнурками к поясам, придавали ловцам бравый, даже воинственный вид.

В пристройке рядом со шкиперской мы отыскивали радиста — маленького злого упрямца в полосатой фуфайке. Он заперся на ключ и сыпал морзянкой с такой быстротой, точно «Кобе-Мару» погружалась на дно...

Уговаривать радиста взялся Широких. Он быстро снял дверь с петель и вынес упрямца на палубу, рассудительно приговаривая:

— Отойди... Постучал — и довольно. Я ж вам объясняю по-русски.

После этого мы выстроили японцев вдоль борта и подивились славной выправке «рыбаков». Судя по развороту плеч и строевой точности жестов, они были знакомы с «арисаки» не хуже, чем с кавасаки.

Мы обыскали кубрик, трюм, машину, но, кроме соленой рыбы, риса и бочки с квашеной редькой, ничего не нашли. Тогда Колосков приказал поднять линолеум в каюте синдо, а сам взял циркуль, чтобы промерить расстояние шхуны от берега.

Вскрывая вместе с Широких линолеум, я видел, как юлит пройдоха синдо. Едва Колосков доказал, что шхуна задержана в наших водах, шкипер уткнул нос в словарь и вовсе перестал понимать командира.

— Ровно миля, — сказал Колосков. — Что вы тут делали, господин рыболов?

— Благодарю, — ответил синдо. — Мое здоровье есть хорошо.

— Не интересуюсь.

Синдо наугад ткнул пальцем в страницу.

— Хоцице немного русска воцка? Вы, наверно, за-  
зябли?

Колосков отвернулся и стал терпеливо разглядывать картинки над койкой синдо. Трюк со словарем был стар, как сама шхуна.

Между тем синдо продолжал бормотать:

— Вчера шел дождик... Морская погода, как сердце красавицы, есть холодна и обманчива... Пятница — опасный день моряков...

— Кончили? — спросил Колосков.

— Не понимау... Чито?

Тут командир взял из рук синдо словарик и, захлопнув, сказал прямо в лицо:

— Ну, довольно шуток, я намерен поговорить серьезно.

Нужно было видеть, как повело шкипера при этих словах. Он выпрямился, задрал нос и заскрипел, точно сухое дерево на ветру:

— Хорсо... Я отказываюсь говорить младшим лейтенантом.

— Понятно, — сказал Колосков, пряча карту. — Понятно, господин старший рыболов.

В это время командира позвали на палубу, и тут открылась занятная картина.

Возле шлюпки лежал аварийный дубовый анкерок ведер на пять пресной воды. Боцман шхуны вздумал походя накинуть на бочку брезент, а эту запоздалую заботу подметил Широких. Любопытства ради он выбил втулку из бочки и сильно удивился, почему вода плещется, а не льется на палубу.

Багровый от волнения, он стоял на коленях возле анкерка и, запустив руку по локоть, что-то нащупывал.

Увидев Колоскова, он застеснялся и сказал:

— Что-то плещет, товарищ лейтенант, а шо — неизвестно.

Он пошарил заботливо, как рыбак в вентере, и прибавил:

— Будто щука.

И вытащил новенький маузер.

Потом он воскликнул.

— Лещ, товарищ лейтенант! Окунь, карасы!

И на палубу рядом с маузером легли фотоаппарат, индуктор, связка бикфордова шнура, коробочка капсюлей и еще кое-что из «рыбацкого» ширпотреба.

Последней была вынута калька со схемами, нанесенными бегло, но искусной и твердой рукой.

Идти в отряд своим ходом японцы наотрез отказались. К тому же они успели забить в нескольких местах топливную магистраль кусками пробки и войлока. Тогда мы загнали команду в кубрик и, закрепив буксирный конец, с трудом вытащили шхуну из бухты.

...Заметно свежело. Волны стали острее и выше. Всюду осыпались и дымились на ветру белые гребни. Временами волна, разбитая «Смелым», пролетала над ходовым мостиком, осыпая нас шумными, злыми осколками.

Багровое небо обещало тяжелый поход. Дул лобовой шквалистый ветер, и трос, слишком короткий для буксировки, вибрировал за кормой.

На полдороге к отряду «Смелый» стал зарываться в волну. Вода кипела и металась по палубе, не успевая уйти за борт.

Колосков все чаще и чаще поглядывал назад, на смутно белевшую шхуну. Потеряв самостоятельность, на жесткой буксирной узде, шхуна плелась за нами, раскачиваясь, спотыкаясь о гребни. Вероятно, «Кобе-Мару» было еще труднее, чем нам, потому что трос не давал ей свободно взбегать на волну.

Вскоре стал заметен только бурун, волочившийся у нас на буксире. Берег, черневший по правому борту, исчез. Низкий рев моря, шипение бескрайной воды глушили перестуки мотора. Шквал навалился на катер с такой силой, что разорвал на мостике парусиновый козырек и сорвал со шлюпки чехол.

«Смелый» шел шажком в темноте, вздрагивая и кряхтя от крепких ударов. Ни звезды, ни огня! Командир приказал включить прожектор, а сам отправился на корму, чтобы осмотреть буксировочный трос.

Я стоял на руле и слышал, как, вернувшись на мостик, Колосков отдувался и убеждал себя самого:

— Черт! Не размокнет... Ну, ясно...

Мы думали об одном. Позади нас, на пустынной палубе шхуны, были двое: боцман Гуторов и ученик моториста Косицын. Гуторов был надежен. Подвижной, грубоватый, смекалистый, он был родом из Керби, славного поселка рыбаков и охотников, и держался на палубе прочнее, чем кнехт<sup>1</sup>. Но Косицын... Сколько раз мы вытаскивали его из машины на палубу — зеленого, мутноглазого, вялого! На земле он был весел, по-крестьянски деловит и упрям, а в море размокал, как галета в горячем чае. Что сделаешь, если степная кровь не терпит ни качки, ни сырости.

Чтобы успокоить командира, я сказал:

— Устоит... На воздухе все-таки легче.

— Да? Я тоже так думаю, — ответил Колосков и тут же возмутился: — Разговорчики! Да вы что? На компасе или в пивной?

Был виден уже маяк Угловой, когда краснофлотец, следивший за тросом, резко вскрикнул...

Я сразу почувствовал, что катер пошел подозрительно ходко, обернулся и увидел, как позади нас быстро гаснет бурун. Из темноты долетал смятый шквалом голос Косицына:

— ...варищ командир ...аварищ ...анди-ир!

Что он кричал еще, разобрать было нельзя, да мы и не вслушивались. Круто развернувшись, «Смелый» пошел на выручку шхуны.

Прожектор быстро нашел «Кобе-Мару» (среди черной воды она блестела, как моль), обшарил шхуну с обоих бортов, лег на волну... И тут Колосков, сигнальщик и я разом закричали:

— Полундра!

В штормовой ошалелой воде барахтались двое. Они дрались. Оглушенные ударами гребней, они подминали, душили, топили друг друга, разевая рты, чтобы забрать воздух, и задыхались, и слепли в прожекторном свете, не выпуская, однако, горла противника. То и дело пловцы взлетали высоко над нами, над всем глухо стонущим морем и рушились вниз вместе с гребнями волн.

Их разбило. Они снова кинулись навстречу друг дру-

---

<sup>1</sup> Кнехт — железная тумба для крепления канатов.

гу. А когда мы приблизились к месту схватки и бросили лишь, за конец схватился один только пловец...

То был Гуторов.

Окровавленный, ослабевший, он лег ничком, бормоча:

— Там на шхуне... Косицын... один.

— Самый полный! — скомандовал Колосков.

— Есть... амы... полны! — ответили из машины.

«Смелый» вздрогнул и не двинулся с места.

— В машине!

Сачков ответил что-то невнятное. Вода за кормой побелела, корпус затрясся, заскрипел от рывков, и мы поползли со скоростью плавучего крана.

Колосков приказал осмотреть винт. Нас держал трос. Огромный, разбухший ком ворочался за кормой «Смелого», отнимая у нас ход и маневренность. Вероятно, с палубы шхуны смыло целую бухту манильского троса, и катер, налетев с размаху на спась, перепутал и намотал на винт метров сто крепчайшего волокна.

Застопорив машину, мы полезли в воду рубить и распутывать петли, а боцман тем временем, клацая зубами, рапортовал командиру, что случилось на шхуне.

...Косицын был на руле. Гуторов осматривал трос. В это время вода разбила стекло штурманской рубки. Услышав звон, японцы стали ломиться на палубу. Гуторов подбежал к кубрику и укрепил дверцу веслом (завдвижка была слабовата). И тут из какой-то щели, возможно из канатного ящика, вылез «рыбак». Он успел рубануть буксирный конец ножом и кинулся боцману под ноги, а шхуну как раз положило на борт...

Что было с Косицыным, Гуторов не знал. Он выпил стакан спирта и, обвязавшись канатом, снова влез в воду.

Скучное дело! Мы очисти́ли винт, но продолжали болтаться на месте: вал был согнут, муфта разболтана, мотор дышал, как затравленный, и «Смелый» не мог даже выгрести против ветра.

Мы превратились в буюк, а шхуну уносило все дальше и дальше. Прожектор резал только мачты по клотик. Они долго кланялись морю на все четыре стороны — маленькие светлые травинки среди гневной воды — и наконец пропали из глаз.

Как мы провели ночь — вспоминать скучно. Скажу

только, что, несмотря на десятибалльный ветер, на палубе было довольно жарко, а в трюме, кроме моторной помпы, непрерывно работали четыре ручные донки<sup>1</sup>.

Море разворотило фальшборт от мостика до шпигля, смыло тузик и, в довершение всего, выдавило стекло у прожектора, сильно порезав осколками сигнальщика Сажина.

Когда рассвело, мы увидели изуродованный катер и злобную тускло-серую воду.

Захлебываясь сиреной, к нам подходил ледокол «Трувор».

Колосков был мрачнее моря. (Если бы только можно было дохромать до порта самим!) Отвернувшись от «Трувора», он велел готовить буксир.

На рассвете был поднят на ноги весь отряд. Не дожидаясь нашего возвращения в порт, комбриг выслал в море шесть катеров. Пешие и конные дозоры направились вслед за шхуной на юг, осматривая каждую бухту.

В тот день, сменив гребной вал и винт, мы снова вышли в море. Шторм утих, горизонт был чист. Никто из рыбаков на сто миль к югу от Соболиного мыса не видел огней гибнущей шхуны.

Только на четвертые сутки стало известно о судьбе «Кобе-Мару». И вот что случилось с Косицыным.

## II

— Товарищ командир! — крикнул Косицын.

Никто не ответил. Корпус шхуны гудел от ударов. На палубе, сливаясь с морем, шипела вода.

Он сложил руки рупором и крикнул еще раз в темноту, где вспыхивали на ветру гребни волн:

— Товарищ команди-ир!

Он был один на мокрой палубе, освещенной только белизной пены. Желание услышать товарищей, увидеть хотя бы издали силуэт пограничного катера охватило его с удвоенной силой. Косицын продолжал кричать, поворачиваясь в разные стороны, так как потерял всякую ориентировку. Временами он делал паузы, чтобы пере-

---

<sup>1</sup> Донка — паровой насос.

вести дыхание и прислушаться, но бесконечный, низкий рев моря глушил посторонние звуки.

Внезапная вспышка света заставила Косицына обернуться. Справа по носу шхуны прыгал с волны на волну прожекторный луч. Свет был на излете. Далекий, ослабленный водяной пылью, носившейся в воздухе, он терпеливо нащупывал шхуну. И Косицыну, несмотря на холод и мокрый бушлат, сразу стало веселей и теплей. Широко море, а не пропадешь!

Он вернулся к штурвалу и попытался поставить шхуну носом к волне. Это не удалось. Лишенная хода, «Кобе-Мару» рыскала из стороны в сторону, подставляя ударам борта.

Между тем расстояние увеличивалось. Гребни стали беспокойней, острей. Прожектор захватывал только концы мачт. Видимо, «Смелый» не мог осилить волну. Сузив глаза, озябший Косицын силился разобрать сигнальные вспышки, мигавшие на клотике «Смелого». Они были отрывочны, почти бессвязны.

«...Исправим... пойдём вами... зажгите бортовые... кливер... крайнем случае... берег».

— Есть так держать! — ответил по привычке Косицын, и снова в море стало темно.

Шхуна мчалась, не слушая руля, без бортовых огней, вздрагивая и раскачиваясь, точно пьяная.

Она неслась мимо мыса Шипунского, окаймленного полосой бурунов, мимо отвесной скалы с маяком, бросавшим в море короткие вспышки, мимо ворот в бухту, где находился отряд, — все дальше и дальше на юг.

Косицын снял бортовые фонари и попытался зажечь их, прикрывая бушлатом. Вода барабанила по спине, спички гасли от ветра и брызг. В конце концов ему удалось зажечь фитилек, но волна неожиданно ударила сбоку, залила масленку и выбила коробок. С тяжелым сердцем он повесил на место темные фонари.

Приближался рассвет. Волны продолжали толпиться вокруг беспомощной шхуны.

Косицын то и дело бегал к борту. Он никак не мог привыкнуть к морским ухабам и каждый раз, возвращаясь к штурвалу с бледным лицом и затуманенными глазами, твердил про себя: «Довольно! Черт! Ну, хватит, я говорю!»

И снова, держась за леер<sup>1</sup>, склонялся над морем. Когда рассвело, он взял ведро и смыл с дубовой решетки следы своей слабости. К счастью, палуба была пуста.

Вместе со светом к Косицыну постепенно возвращалась решительность. Надо было как-то действовать, распоряжаться беспомощной шхуной.

Он расстегнул кобуру, осторожно поднял подпорку-весло и жестами пригласил на палубу шкипера. Из осторожности он сразу захлопнул и укрепил дверцу в кубрик.

— Аната! — сказал он как можно тверже. — Надо мотор запустить, слышь, аната!

— Кому надо? Нам не надо.

Шкипер даже не глядел на бойца. Стоял, почесываясь и зевая. Это возмутило Косицына.

— Пререкания? Я приказываю!

— Осен приятно... Я отказываю.

Машина была испорчена мотористом еще вчера. Косицын взглянул на фок-мачту, на темный жгут скатанной парусины, подумал и вынул наган.

— Чито? — спросил быстро синдо. — Чито вы хотите?

— Это дело мое. А ну, ставь кливер.

Они посмотрели друг другу в глаза, потом синдо повернулся и не спеша пошел к мачте. Косицын спрятал наган.

По правому борту, сливаясь с горизонтом, тянулась низкая полоса тумана. Изредка долетали дальние пушечные залпы прибоя. Как всегда на мелких местах, накат был огромен.

«Разобьет, — определил Косицын. — Обязательно разобьет!» Однако, как только кливер вырвался вправо и «Кобе-Мару» стала послушной рулю, Косицын решительно направил шхуну в туман.

Он так озяб, истосковался по твердой земле, что рад был сесть на камни, на мель, черту на спину, лишь бы спина эта была твердой. К тому же с рассветом увеличился риск встретить какую-нибудь японскую шхуну.

Шкипер отвел шкот<sup>2</sup> к корме и сел на фальшборт

---

<sup>1</sup> Леер — канат, протянутый на корабле для облегчения ходьбы во время качки.

<sup>2</sup> Шкот — снасть, растягивающая подветренный, нижний угол паруса.

напротив Косицына. Он был сильно встревожен: вертел шеей, прислушивался к шуму прибоя, даже снял платок, прикрывавший уши от ветра. Наконец он не выдержал и заметил:

— Наверно, это опасно.

Косицын не ответил. Туман разорвало. Стали видны высокий накат, и берег, и темная зелень сопки. Сильно накренившись, шхуна шла прямо на камни.

— Благородуйность — оружие храбрых, — сказал шкипер отрывисто. — Как это? Худой мир лучше доброго сора? Вы есть храбры... Мы тоже довольно сильны... — Он помедлил. — Хоцице имец... как это... магарыч?

— Магарыч? Не понимаю... Я по-японски не обучен.

— Кажется, я говру вам по-росскэ?

— А мне не кажется. Слова русские, смысл японский.

— Мы спустим шлюпку, — сказал быстро синдо. — Хорсо? В иенах береце?

Косицын глядел поверх шляпы синдо на сопку, думая о своем. Земля была близко, а саженные буруны на камнях еще ближе. Жалко, мал ход. Развернет к берегу лагом, обязательно развернет. «Ну, держись!» — сказал он себе самому.

Всем сердцем он почуял близкий конец и, как часто бывает с людьми, простодушными и отважными, разом захмелел от опасности, от сознания своей дерзкой, отчаянной силы.

— Давай! — крикнул он шкиперу. — Давай золото, давай все!

Ответа он не расслышал — набежала и оглушила волна, — но понял, что шкипер спросил: «Сколько?»

— Мильон! — крикнул Косицын, навалясь на штурвал. — Все будет наше!

Шкипер глянул в молодое, ожесточенное лицо рулевого и разом ослабил шкот.

— Ну-у?! — спросил грозно Косицын, и кливер снова рванулся вперед.

— Не надо, Иван! — крикнул синдо.

— Знаю! Отстань!

Шкипер подбежал к дверце, выбил весло. Из куб-

рика хлынули на палубу и загалдели японцы. «Кобе-Мару» несло прямо на сопку — темно-зеленую, курчавую, точно барашек.

Бросили якорь, но шхуну уже развернуло к берегу лагом и било днищем о камни. Через борт, ревя галькой, смывая людей, шла вода...

### III

То был Птичий остров — невысокая груда песка и камней среди хмурой воды. Косицын понял это, едва солнце разогнало туман и за проливом встали пестрые горы материка.

С вершины сопки было видно все: берег, отороченный шумной волной, полоса гальки и водорослей, шесты с мокрым бельем, даже ракушки на дне перевернутой «Кобе-Мару». Широко и вольно дышало море, облизывая мертвую шхуну, а на пологих валах еще сверкали жирные пятна нефти и качались циновки.

Внизу дымился костер. Семь полуголых японцев сидели возле котла, по очереди поддевая лапшу, и косились на сопку.

Косицын снял все, кроме грусов и нагана. Здесь он чувствовал себя куда крепче, чем в море, хотя царапины на плече еще сильно саднило, а во рту было горько от соли. Все-таки земля. Горячая, твердая! Обдуваемый ветром, он спокойно поглядывал то на пленников, то на море.

Остров был свой, знакомый по прежним походам. Здесь иногда проводили стрельбы, рвали черемшу, собирали в бескозырки яйца чаек. Пусть шушукуются у котла! Шхуна разбита, на шлюпке далеко не уйдешь.

Стойкий запах травы и теплый воздух, струившийся над камнями, вызывали сонливость. Чтобы не задремать, Косицын ущипнул себя за руку и, надев еще сыроватый бушлат, решил обойти весь остров по берегу.

Плохая затея! Едва ноги его коснулись песка, как все мускулы заныли, ослабли, запросили пощады. Утомленный качкой, Косицын готов был растянуться у подножия сопки. Как? Лечь? Он наградил себя жестоким щипком и, с трудом вытаскивая ноги, направился дальше.

То был остров без ручьев, без деревьев, без тени, заросший жесткой, курчавой травой. И жили здесь только птицы. Черные жирные топорки отрывались от воды и, с трудом пролетев сотню метров, ныряли прямо в дыры, пробитые в склоне горы. Зато чайки носились высоко, покачиваясь на упругих крыльях, смело дрались в воздухе и только изредка опускались на самые высокие скалы.

Весь восточный берег был завален влажным мусором. Косицын разглядывал его с любопытством, по-крестьянски жалея неприкаянное морское добро. Были тут измятые ржавые бочки, стеклянные шары наплавов в веревочных сетках, бутылки, бамбук, обрывки сетей, циновки, багровые клешни крабов, водоросли с темными луковичками на конце каждой плети, куски весел, канаты, ветхие позвонки и ребра китов, пемза, доски с названиями кораблей и еще никого не спасшие пояса, шершавые звезды, медузы, тающие среди водорослей, точно куски позднего льда, истлевшая парусина чехлов — все мертвое, влажное, покрытое кристаллами соли.

Выше этого кладбища белели просторные залежи сухого плавника. Это навело Косицына на мысль о костре, высоком, дымном сигнале-костре, который был бы виден с моря и ночью и днем. Но когда он подошел к японцам и потребовал перенести сучья с берега на гребень горы, никто не шелохнулся. Шкипер не захотел даже поделиться спичками.

— Скоси мо вакаримасен, — сказал он смеясь.

Семь рыбаков с присвистом и чмоканьем глотали лапшу. Они успели снять со шхуны и припрятать под водорослями два мешка риса, ящик с лапшой и целую бочку с квашеной редькой и теперь иронически поглядывали на голодного краснофлотца.

— Не понимаю, — перевел любезно синдо.

Косицын помрачнел. Он мог сидеть без воды, без хлеба, потому что это касалось лично его. Но спички... Костер должен гореть. И он спросил, сузив глаза, очень тихо:

— Опять р-разговорчики? Ну?!

Только тогда улыбки погасли, и шкипер кинул бойцу жестяной коробок.

Что делать с «рыбаками» дальше, Косицын не пред-

ставлял. Он прожил всего двадцать два года, знал мотор, разбирался в компасе, но еще ни разу не попадал на остров вместе с японцами.

Впрочем, он задумался ненадолго. Природная крестьянская обстоятельность и смекалка подсказали ему верную мысль — сразу взять быка за рога. В чистой форменке и бушлате, застегнутом на все пуговицы, он чувствовал себя единственным хозяином земли, на которой бесцеремонно расселись и чавкали подозрительные «рыбаки». Надо было с первого раза поставить японцев на место. Тем более, что Большая земля лежала всего в двух милях от острова.

Поставить... Но как? Он вспомнил неторопливую речь и манеру боцмана выступать на собраниях (одна рука позади, другая за бортом кителя), приосанился и сурово сказал:

— Эй, старшой! Разъясните команде мою установку. Вы теперь на положении острова. Это во-первых... Земли тут немного, да вся наша, советская. Это во-вторых. Значит, и порядки будут такие же. Самовольно неотлучаться, озорства не устраивать, во всем соблюдать сознательность, ну, и порядок. Ежели что — буду карать по всей строгости на правах коменданта... Вопросы будут?

— Будут, — сказал быстро синдо. — Вы комендант? Хорсо. Тогда распорядитесь кормиць нас продовольствием. Во-первых, рисовая каша, во-вторых, рыба, в-третьих, компот. А?

Он торжествующе взглянул на Косицына, и вслед за ним, не переставая жевать, на краснофлотца уставилась вся команда.

Комендант долго думал, подбирая ответ.

— Рисовой каши не обещаю, — сказал он серьезно, — с рыбой придется обождать... А вот компот вам будет. Обязательно будет. И в двойной порции! Понятно?

Никто не ответил. Боцман, толстяк в панаме и синей шанхайской спецовке, облизывал пальцы, с любопытством поглядывая на коменданта.

— А теперь учтем личный состав.

Тут комендант вынул карандашик и книжку и спросил боцмана, сидевшего крайним:

— Ваша фамилия?

Он спросил очень вежливо, но боцман только хихикнул. За толстяка неожиданно ответил синдо:

— Пожариста... Это господин икс.

— Ваша?

— Пожариста... Господин игрек.

Раздались смешки. Игра понравилась всем, кроме коменданта.

— Отставить! — сказал Косицын спокойно. — Эта азбука нам известна.

Он подумал и, старательно оглядев «рыбаков», стал отмечать в книжке приметы: «Икс — вроде борова, фу-файка в полоску... Игрек — в шляпе, конопатый, ко-сой...» На шкипера примет не хватило, и Косицын написал коротко: «Жаба».

...Плавник пришлось собирать самому. Девять раз Косицын спускался на берег и девять раз приносил на вершину сопки охапки вымытых морем, голых, как рога, сучьев.

Он тотчас разжег костер, но плавник был тонкий, сухой. Пламя быстро обгладывало ветки, почти не давая дыма. Тогда он принес с берега несколько охапок мокрых водорослей, и вскоре над островом за клубился бурый дым.

В каменной выемке на вершине горы Косицын нашел лужу с дождевой теплой водой, напился и даже вымыл чехол бескозырки. Затем он стал шарить в карманах, надеясь найти что-либо съедобное. Закуска оказалась жестковатой: перочинный нож... пуговица... ружейная гильза. Все это было облеплено клочками бумаги и липкой красновато-коричневой массой. Косицын вспомнил, что накануне положил в бушлат два ломтя хлеба с кетовой икрой (известно, что с полным трюмом легче выдержать качку).

Он извлек несколько пригоршней соленого месива и медленно съел, запивая водой из лужи. Поблизости от костра комендант отыскал гнезда чаек. В каждом из них лежало по три голубоватых теплых яйца. Он выпил десяток. Чайки носились вокруг, норовя клюнуть в бескозырку Косицына.

После завтрака к нему вернулась сонливость. Солнце светило так ровно, так мягко, что веки смыкались сами собой. Комендант стал разглядывать горизонт. Но море, отдыхая после шторма, сияло голубизной, переливаясь,

мерцало, ослепляя глаза. Тогда, чтобы не поддаться соблазну, он решил привести в порядок командную точку. Очистив площадку от крупных камней, он уложил их полукруглым барьером, сделал что-то вроде скамьи и протоптал на восточном склоне дорожку к залежам плавника.

Вечером комендант спустился к японцам. На этот раз «рыбаки» были заняты странной игрой. Обступив бесстрастного шкипера, они поочередно тянули у него из кулака соломинки. Самая длинная досталась боцману. Увидев Косицына, он отошел в сторону и стал чистить щепочкой ногти.

— Мы выбрали повара, — пояснил шкипер любезно. — Этот человек сварит кашу сегодня.

Косицын оглядел жеребьевщиков. Крепкие парни стояли полукругом, бормотали и кланялись с подчеркнутым дружелюбием. Маленький радист даже козырнул коменданту. Боцман спохватился, отвел глаза и медленно растянул щучий рот.

— Невеселый какой повар, — заметил Косицын. — Наверно, обжечься бонтятся.

Было ясно — готовят какую-то пакость. Какую — Косицын не мог догадаться. В раздумье он обошел лагерь японцев. Циновки, котел, бочка, резиновые сапоги — все было как утром. Только шлюпка лежала значительно ближе к воде. Прибой? А к чему обмотано бечевой треснувшее весло? Комендант знал десятка два слов, но, вслушиваясь в легкое стрекотанье японцев, похожее на скороговорку, мог уловить только знакомое «со-дес». Уж не собрались ли?..

Подумав, он выдернул из песка оба весла, на которых сушилось белье, и пошел с ними в гору.

Повар забежал вперед и тревожно спросил:

— Эй, Иван, зачем брал?

— Укоротить надо. Велика больно ложка, — ответил сурово Косицын, положив руку на кобуру.

#### IV

Наступила ночь, просторная, звездная. Костер на вершине сопки стал гаснуть, и шкипер отдал приказ выступать.

Как удалось выяснить позже, «рыбаки» утаили при

обыске два ножа и плоский штык, который боцман умудрился спрятать в брюхе трески. Сначала было решено оружие в ход не пускать, ждать полицейскую шхуну, принявшую вчера сигналы «Кобе-Мару». Потом двое «рыбаков» (больше тузик не брал) взялись добратся до ближайшего острова Курильской гряды и вызвать подмогу. Но весла были на сопке у коменданта. Оставалось ждать, когда на помощь оружию придет сон.

И сон пришел. Было видно, как бледнеет, никнет в траву голодный огонь. Вскоре перестал шевелиться и комендант.

Чтобы не шуметь, японцы оставили на песке гета и резиновые сапоги. Верные постоянной тактике охвата, они разбились на две группы и осторожно поднялись на сопку. Боцман, вытянувший накануне соломинку, должен был кинуться первым.

Костер погас. Комендант спал. На фоне звездного неба чернела сутулая спина коменданта. Бескозырка съехала на нос, и голова клонилась к коленям.

Боцман кинулся к спящему и, торопясь, ударил в спину ножом. Раз! Два! Он опрокинул Косицына в траву, а набежавшие из темноты «рыбаки» стали в ярости топтать коменданта.

Шкипер опомнился первым.

— Са-а! — крикнул он.

Вслед за ним вскочили другие.

И тогда «рыбаки» услышали знакомый сипловатый голос Косицына.

— Ну, чего «а-а»? — спросил он неторопливо. — Убили сонного... Рады?

Он вышел из-за кустов и, сорвав бушлат с чучела, кинул болванку на угли. Вспыхнул ком водорослей, и разом стали видны невеселые лица японцев.

— Дай сюда нож! — сказал Косицын убийце. — Тоже кашевар навязался.

Он хотел сказать еще что-нибудь похлеще про самурайскую подлость, но сразу не мог подобрать нужное слово, а когда подобрал, по склону, вслед за японцами, уже сыпались камни.

Комендант расправил бушлат и вздохнул. Сукно было совсем свежее, первого года носки. Тем страшнее зияли на фоне огня две дыры.

— Какой бушлат загубил! — сказал с сердцем Косицын. — Чертов икс, насекомое вредное!

Ругаться он совсем не умел.

Всю ночь Косицын провел в мокрой траве, изредка поднимаясь, чтобы подбросить в огонь плавника. И это было мукой — чувствовать теплоту пламени, слышать прибой, мерный, как дыхание спящего, и не заснуть самому.

К утру рука коменданта посинела от крепких щипков. Он обтерся до пояса ледяной водой и снова принялся за работу. У него хватило сил заpastись хворостом, вымыть тельняшку и даже почистить кусочком пемзы пряжку и потемневшие пуговицы. Он был комендантом, хозяином Птичьего острова, и каждый раз, проходя мимо молчаливой, враждебной кучки японцев, с усилием поднимал веки и старался ставить ногу твердо на каблук.

А песок был ласков, горяч. Сухие, пружинистые водоросли цеплялись за ноги, звали лечь. И так настойчив был этот призыв, что Косицын стал обходить стороной опасное место, выбирая нарочно большие неровные камни.

В обед он снова отправился за яйцами. На этот раз все гнезда были пусты. Зато на песке возле «рыбаков» лежала целая груда яиц.

Такое нахальство возмутило Косицына. Он направился к соседям с твердым намерением устроить дележку. Но едва поравнялся с циновками, как два «рыбака» прыгнули прямо в кучу яиц. Охваченные мстительной радостью, они принялись отплясывать нелепый воинственный танец среди скорлупы.

Отогнать? Пугнуть для порядка? Как ни голоден был комендант, он не хотел пускать в ход наган.

Косицын просто не заметил двух плясунов. Он развернул плечи и прошел мимо неторопливой походкой только что пообедавшего человека. При этом он даже отдувался и ковырял спичкой в зубах.

Вероятно, хитрость голодного человека была очень заметна, потому что синдо усмехнулся. Это рассердило Косицына. Он замедлил шаг и сказал шкиперу по-хозяйски увесисто:

— Повар ваш по чужим кастрюлям горазд... Боюсь, свинцовым горохом подавится.

...Голод снова привел его на птичий базар. Скинув бушлат, Косицын стал шарить в норах, выбитых птицами в песчаном откосе. У топорков были железные клювы. Они защищались отчаянно. Косицын свернул головы двум топоркам и зажарил птиц на углях. Темное мясо горчило и пахло рыбой.

Что было дальше, он помнил плохо. С раскрытыми глазами комендант сидел у костра. Он ничего не видел, кроме огня и японцев, шевелившихся на песке. Скалы плыли, двоились, волны почему-то набегали на траву, солнце гудело, точно большая паяльная лампа. Чайки монотонно кричали «зря... зря...»

## V

Был славный штилевой вечер, когда Косицын спустился с горы и сел напротив японцев. Утомленный непрерывной тревогой, комендант хотел смотреть врагам прямо в глаза.

— Ложись спать, аната, — сказал он устало. — Ложись спать, слышишь, чайки играют отбой.

Странное дело, никто из «рыбаков» не пытался возражать коменданту, точно вся команда молчаливо признала сопротивление бесполезным. Спать так спать!

Солнце погрузилось в тихую светлую воду. Утка спрятала голову под крыло. Дым над островом стоял на тонкой ноге, упираясь кроной в зеленое небо. В тишине было слышно, как гулькают волны, выбегая на отлогий песок.

Семь «рыбаков» ложились на циновки, потягивались, вкусно зевая. Стоило одному из них открыть рот, как зевота, obeжав всю команду, поражала Косицына. Вскоре это было замечено, и японцы принялись откровенно поддразнивать коменданта. То один, то другой кривил спазмой рот, изображая крайнюю степень усталости. Со всех сторон неслись глубокие блаженные вздохи, похрустывание расправляемых связок, чмоканье, кряхтенье, сонное бормотанье — темная музыка сна, способная свалить даже свежего человека.

Чтобы стряхнуть дремоту, Косицын спустился к берегу и, став на колени, погрузил лицо в темную воду.

Стало немного легче. Он смочил бескозырку и нахло-

бучил на голову. Только бы просидеть до утра. А там... Должен же «Смелый» заметить огонь.

Он снова вернулся к японцам. Кажется, они теперь спали по-настоящему, без нарочитого храпа и вздохов. Косицын еще раз пересчитал «рыбаков». Семь японцев лежали полукругом — головами к сопке, ногами к костру. Огонь и тот задремал: угли уже подернуло сединой.

Холодная вода стекала с лент бескозырки за шиворот. Комендант даже не шевелился. Пусть, так лучше. Рука от щипков онемела, а капли все-таки гнали сон.

Вскрикнула птица. Повис, нудно заныл над ухом комар. Ниже, ниже... Звенит, переливается, тянет... Скорей бы рассвет, птичий базар. На свету как-то меньше слипаются веки. Он отмахнулся от комара. Медлит, сверлит... Хоть бы ужалил... Нудьга! Не комар — провод в степи... Откуда степь? Ерунда... Ветер? Нет, песня... Странная песня.

Он смотрел на угли, стараясь понять, человек то поет или просто гудит усталая голова. А сквозь сонный плеск моря заметно пробивалась песенка — грустная и простая.

То была песня-петля, песня-удавка. Прозрачная, безобидная, цепкая, она незаметно обволакивала тело и усталую волю бойца.

Он вскочил, отошел в сторону. Песня догнала его, пошла рядом, обняла за шею прозрачной рукой.

Душит, гнет, качает, баюкает... Что за черт! Кружатся звезды, качается берег, точно палуба. Ерунда! А быть может, почудилось?

Зябко стало коменданту. Он пошел быстрее, почти побежал. Песня смолкла, отстала...

Из темноты навстречу взметнулась скала. С разбегу привалился он к мокрому камню. Кровь сильно токала в царапину на плече. Промыть бы соленой водой... Завтра лекпом наложит повязку по форме...

Снова Косицын почувствовал вкрадчивое прикосновение песни. Она выползла откуда-то из темноты, из сырых всдорослей, из камней, обняла и закрыла ладонью глаза.

Опускаясь на корточки, он твердил сквозь зубы себе самому:

— Я не хочу спать... Я не хочу спать... Не хочу.

Но песня была сильнее. Она сомкнула веки бойца, пригнула к коленям горячую голову. Спать! Спать! Все равно...

Он выпрямился, глянул с отчаянием в темноту. Коменданту почудилось, что на камне, напротив скалы, сидит шкипер. Руки синдо — локтями в колени, подбородок — в ладони. Лицо неподвижно, а под ресницами настороженно тлеют глаза. Вот оно что — песня сочится сквозь зубы.

И вдруг комендант понял: вяжут сонного! Еще минута — и песня шаг за шагом уведет его в темноту... Сволочи! Как быка!

Он рванулся, крикнул что было сил:

— Врешь! Не выйдет... Молчи!

И песня оборвалась. Стал слышен ленивый плеск моря.

— Хорсо, — сказал шкипер. — Я буду не петь. — Он оплел руками колени и добавил, мечтательно сузив глаза: — Извинице... я думал делать приятность. Сибиряки любят красивые песни.

— Не сибиряк я... Молчи.

— Извинице, а кто?..

Косицын, пошатываясь, отошел от опасного места. Теперь он хоть видел в лицо врага. Темный страх, вызванный песней, сменился привычным ожесточением усталого и голодного человека.

— Спрашивать буду я, — сказал мрачно Косицын. — Не в своем болоте расквакались.

Они помолчали.

— Я думаю, вы, наверно, волжаник? — продолжал мечтательно синдо. — Волжанские песни тоже довольно приятны. Как это? Вы есть жив еще, моя старушек. Жив на привец тебе, привец... Наверно, так? Очень хорсо! — Шкипер подумал и сказал почти шепотом: — Признаюсь между нами, я тоже уважаю... свой добру старушек. Интересно, что думает счас моя стару, моя добру матерка?

Комендант пригорюнился, подпер кулаком небритую щеку.

— Думает... Известно, что думает.

— Да? Очень интересно. Скажите, пожариста.

— «Эх, и какую хитрую шельму я родила!»

— Ах, так! — сказал шкипер отрывисто. — Хорсо. Вы знаете правило: смеется, кто сильный?

— Вот я и смеюсь.

— Кто вы? Командир? Нет. Хозяин? Нет. Просто солдат. Мы все одинаково робиноны.

— А я полагаю, робинонов тут нет, — сказал в раздумье Косицын, — одни жулики, а я при вас комендант. Понятно?

Он с трудом поднял голову и добавил, зевнув:

— Волжские песни не пойте. Боюсь... рыбы подохнут.

## VI

Дружный крик японцев вывел коменданта из дремы. Возбужденные «рыбаки» толпились на песке возле самой воды, громко приветствуя белую шхуну. Радист, оравший громче других, сорвал желтую куртку и размахивал над головой, хотя на шхуне и без того заметили группу, — до корабля было не больше десяти кабельтовых.

Шхуна шла прямо к острову, и японцы наперебой объясняли Косицыну невеселую картину близкой расправы. Больше всех старался боцман, самолюбие которого было сильно уязвлено комендантом. Встав на цыпочки, он обвел рукой вокруг коротенькой шеи и высунул язык: «Что, дождался пенькового галстука?» Шкипер тут же любезно пояснил:

— Это нас... Это императорски корабль. Скоро вы можете совсем отдыхац, господин... комендант.

— Вижу, — сказал Косицын невесело.

Он молча вынул наган, пересчитал пальцем японцев и, заглянув в барабан, заметил в тревожном раздумье:

— Семь на семь... как раз.

С этими словами он еще раз взглянул на корабль и отвернулся от моря.

Комендант не нуждался в бинокле. То была знаменитая «Кайри-Мару», голубовато-белая, очень длинная шхуна с надстройками на самой корме, что делало ее похожей на рефрижератор. Официально шхуна принадлежала министерству земли и леса, но выполняла различные деликатные поручения, оценить которые можно только с помощью уголовного кодекса. Стоило задер-

жать в наших водах краболова или парочку хищных шхун, как на почтительном расстоянии от катера появлялась «Кайри-Мару» и затевала длинный разговор, полный намеков и прозрачных угроз. Не раз мы встречали ее по соседству с гидропортом, новыми верфями или возле лежбищ морского бобра, и Сачков, сердясь, обещал отдать один глаз, чтобы увидеть другим «бычка на веревочке». Он горячился напрасно. Оба глаза нашего моториста были в полной сохранности, а нахальная «Кайри-Мару» третий год бродила вдоль побережья Камчатки, перемигиваясь по ночам с заводами арендаторов.

Все было кончено. Косицын повернулся и пошел вдоль берега, стараясь определить место, к которому подойдет шлюпка с десантом. На что он надеялся, трудно сказать. Да и сам он не мог ответить на этот вопрос. Тяжелая кобура с дружеской неловкостью похлопывала его по бедру, точно желая в последний раз ободрить бойца.

Следом за Косицыным шли «рыбаки». Им надоело ждать, когда комендант свалится сам. А вид «Кайри-Мару» и шипение шкипера подогревали решимость покончить с Косицыным прежде, чем шхуна выбросит на берег десант.

Если бы на месте коменданта был Сачков или Гуторов, развязка наступила бы гораздо скорее: трудно сохранить патроны (и свою голову), когда палец так и тянется к спусковому крючку. Но Косицын был слишком нетороплив, чтобы ускорять события.

Он прибавил шаг, но и «рыбаки» зашагали напористей. Упрямые, легкие на погу, они не произносили ни слова. Был слышен только быстрый скрип гальки да крики чаек, провожавших людей. В молчании пересекли они ломкий плавниковый навал, перелезли через грядку камней и, спустившись вслед за Косицыным к морю, пошли по мокрой, твердой кромке песка.

Он обернулся и устало сказал:

— Эй, аната! Мне провожатых не надо.

Шкипер со свистом вобрал воздух, ответил учтиво:

— Прощальная прогулка, господин комендант!

Они пошли дальше. Это была странная прогулка. Впереди рослый, чуть сутулый краснофлотец с угрюмым и сонным лицом, за ним семь нахрапистых, обозленных



«рыбаков» в костюмах из синей дабы и пестрых фуфайках. Когда шел комендант — шли «рыбаки», когда комендант останавливался — делали стойку японцы.

Так они обогнули остров и вышли на северо-западный берег — единственно удобное для высадки место. Маленькая бухта, которую пограничники окрестили впоследствии бухтой Косицына, изгибается здесь в виде подковы с высоко поднятыми краями, которые отлично защищают воду от ветра.

Тут Косицын заметил впереди себя две длинные тени. Радист и боцман, забежав вперед, стали на пути коменданта. Остальные зашли с левого фланга, и все вместе образовали мешок, открытый в сторону моря.

«Рыбаки» наступали полукругом. Позади них, на голой вершине, еще шевелился огонь. Дым стоял точно дерево с толстым стволом, и его широкая крона бросала тень на песок.

Шкипер крикнул что-то по-своему, коротко. И на этот раз Косицын сразу понял: смерть будет трудной. В руках радиста был гаечный ключ, боцман размахивал румпелем<sup>1</sup>, остальные держали наготове сучья и голыши.

Стрелять на близкой дистанции было неловко. Комендант попятился в воду и поднял наган. Странное дело, Косицын почувствовал облегчение. Настороженность, тревога, не покидавшие его трое суток, исчезли. Пропала даже сонливость...

Он стоял твердо, видел ясно: злость и страх боролись в японцах. Боцман шел сбывчившись, глядя в воду. Шкипер закрыл глаза. Радист двигался боком. Все они трусили, потому что право выбора принадлежало коменданту. До первого выстрела он был сильнее каждого, сильнее всех... и все-таки они двигались...

Семь на семь! Ну что ж!

— Чего жмешься! — крикнул он боцману. — Гляди прямо. Гляди на меня!

Он стал тверже на скользких камнях и выстрелил в крайнего. Боцман упал. Остальные рванулись вперед. Два голыша разом ударили коменданта в локоть и в грудь, сбив верный прицел.

— А ну! Кто еще?

Целясь в синдо, он ждал удара, прыжка. Но «ры-

---

<sup>1</sup> Р у м п е л ь — рычаг от руля.

баки» неожиданно замерли. Один шкипер, серый от злости и страха, весь сжавшись, зажмурившись, еще подвигался вперед.

В море выла сирена...

Вытянув шеи, «рыбаки» смотрели через голову коменданта на шхуну, и лица их скучнели с каждой секундой. Кто-то швырнул в воду камень. «Са-а», — сказал оторопело радист. Синдо осторожно открыл один глаз, зашипел и разжал кулаки. Косицын не мог обернуться: «рыбаки» были в двух шагах от него. Он смотрел на японцев, силясь угадать, что случилось на шхуне, и понял только одно: терять время нельзя.

Он поправил бескозырку, опустил наган и пошел из воды на противника.

Радист попятился первым, за ним остальные. «Рыбаки» отходили от моря все быстрее и быстрее. Потом побежали.

На берегу комендант обернулся. «Кайри-Мару» шла под конвоем пограничного катера, закрытого прежде высоким бортом, — теперь шхуна медленно разворачивалась, открывая маленький серый катер, и зеленый флаг, и краснофлотцев, уже прыгавших в шлюпку.

...Как «Смелый» встретил «Кайри-Мару», рассказывать долго. Мы задержали ее в шести милях от Птичьего острова и сразу пошли на дымный сигнал (Сачков клялся, что на острове проснулся вулкан).

...Выскочив на берег, мы кинулись навстречу Косицыну. Но комендант, как всегда, не спешил. Славный увалень! Он хотел встретить нас по всей форме на правах коменданта Птичьего острова.

Мы видели, как он растопырил руки, приглашая японцев построиться, как переставил маленького шкипера на левый фланг и велел подобрать животы. После этого он отошел на три шага, критически осмотрел «рыбаков» и, скомандовав «смирно», направился к шлюпке.

Застегнув бушлат на все пуговицы, он степенно шел нам навстречу — отощавший, заросший медной щетиной.

Глаза коменданта были закрыты. Он спал на ходу.

1938

# Осечка

Если небо красно к вечеру,  
Моряку бояться нечего.  
Если красно поутру,  
Моряку не по нутру.

Не верьте морским поговоркам. Из всех закатов, какие я помню, это был самый ясный, самый тихий, самый красный закат.

Всегда прикрытые дымкой хребты были на этот раз обнажены, очерчены резко и сильно. Прозрачный воздух открыл глазу дальние сопки с их гранеными вершинами и темными зарослями кедровника у подножий.

В тот вечер «Смелый» получил приказ доставить на Командорские острова жену начальника морского поста, а заодно два ящика лимонов и щипцы для клеймения котиков. Затем, как всегда бывает с теми, кто идет на острова первым рейсом, нашлись новые поручения. Нам передали зимнюю почту, сто связок лука, подвесной мотор, два патефона, икру, листовое железо, затем предложили взять глобус, корзину с цыплятами, олифу, коньяк, патроны к винчестеру, а в последнюю минуту вкатили по сходням шесть бочек кислой капусты.

Мы грузились всю ночь и легли спать в четвертом часу, когда на той стороне бухты Авачинской губы уже ясно обозначился белый конус Вилючинской сопки.

На рассвете стало свежеть, ванты загудели от ветра, и море подернуло зябкой дрожью.

Мы отдали швартовы, но дальше ворот Авачинской губы уйти не смогли. Море было злое, ярко-синее, и белые гребни дымились от ветра, крепчавшего с каждой минутой.

Славный денек! Солнце, снежные горы, пыльные смерчи на улицах, рывки тугой парусины, девчонки, сжимающие юбки коленями, в то время как ветер расплетает им косы, свист, стон деревьев, громыханье железа и ставней, чья-то рубаха, птицей взлетевшая в синюю вышину, и надо всем — нестерпимо яркое, холодное солнце.

К полудню в Петропавловской бухте стало тесно от кораблей. Пароходы возвращались в порт точно из боя, — с выбитыми иллюминаторами, погнутыми трубами, сорванными надстройками и фальшбортами. Хлебнув вдоволь страха и холодной воды, они жались к при-

стани так, что трещали бревна, а те, что не могли найти места в ковше возле города, стояли по ту сторону сигнального мыса, накреньясь на подветренный борт, и держались за дно обоими якорями.

Вечером на улицах Петропавловска фуражек с крабами и кителей с золотыми нашивками было вдвое больше, чем кепок и пиджаков. Шквал оборвал провода, в ресторане на всех столиках горели свечи, и загулявшие кочегары пили за тех, кто вернулся счастливо, и за тех, кто уже никогда не вернется: всем было известно, что шхуна «Сибирь» погибла утром со всей командой и грузом весенней сельди.

За пять суток ни один катер не вышел за ворота Авачинской бухты. Мы перебрались на берег и, пока шторм держал нас в осаде, принялись приводить свое хозяйство в порядок. Нужно было сменить дубовые решетки, высушить и залатать парусину, подновить шаровой краской потускневшие в походах борта.

Кроме того, у каждого из нас нашлись личные береговые дела. Боцман и я готовились уйти за гуранами<sup>1</sup> в сопки, кок — писать под копирку письма на материк. Сачков снова извлек на свет штаны Пифагора, а Колосков, шестой месяц изучавший японский язык, погрузился в дебри учтивых частиц и глаголов.

Каждое утро он садился за стол и, положив на учебник ладони, твердил вслух, как школяр:

— Каша — мамма, берег — кайган, кожа — кава, собака — ину, ка-ки-ку-кэ-ко... На-ни-ну-нэ-но... Га-ги-гу-гэ-го!

Колосков был упрям и клялся, что заговорит по-японски до первого снега. Больше того, он убедил боцмана и меня заниматься ежедневно по часу перед отбоем.

— Ка-ки-ку-кэ-ко! — говорил он, стуча мелком по доске. — Олещук, не зевайте! Вся штука в учтивых приставках. Мерзавец будет почтенный мерзавец... Шпион — господин почтенный шпион...

Он вкладывал в уроки всю душу, но ни боцман, ни я не могли уяснить, почему «простудиться» означает «надуться ветром», а «сесть» — «повесить почтенную поясницу».

---

<sup>1</sup> Гуран — горный козел.

Мы не жалели учтивых частиц и вставляли их после каждого слова, потому что вежливость в разговоре никогда не вредит... Нам с боцманом трудно судить об успехах, однако Колосков всерьез уверял: если говорить скороговоркой и держаться не ближе двух миль, наш язык вполне сойдет за японский.

...Шестой урок не состоялся. Ветер упал так внезапно, точно у Курильских островов закрыли выюшкой трубу. Сразу выпрямились деревья, закричали скворцы, высоко вскинулся дым, и корабли один за другим стали выходить из Авачинской бухты навстречу все еще крупной волне.

...Через два часа мы уже подходили к мысу Шипунскому — черной каменистой гряде, отороченной высокими бурунами. Когда-то здесь спускалось в море несколько горных отрогов, но ветер и волны разрушили камень; теперь по обе стороны мыса торчат только острые плавники, точно на мель села с разбегу стая коз.

В свежую погоду у Шипунского мыса ходить скучно: всюду толчея, плеск, взрывы, шипенье воды. То справа, то слева по носу открываются жернова, готовые размолоть в щепы любую посудину — от катера до линкора. В таких случаях не успеешь крикнуть «полундра», как сам катер бросается в сторону.

Зато в штилевую погоду более интересное место трудно найти. Здесь, между камнями, видишь, как море дышит, тихо перекладывая рыжие борозды на камнях. Я знаю грот, выбитый морем в толще базальта, низкий и темный, куда с трудом войдет тузик. Солнце, прорвавшись сквозь трещину купола, входит в воду зеленым столбом до самого дна. Вода вокруг кажется черной и мертвой, но стоит не шевелясь посидеть минут пять, как начинаешь кое-что различать.

Киль лодки висит над тайгой... Есть тут широкие волнистые плети морской капусты, пушистые ветви, похожие на рога изюбра весной, огненные нити, нежные, бледно-зеленые шары — точная копия омелы, дубовые листья, тонкие плети с луковицами величиной с кулак, есть кусты, похожие на жимолость, терн, ольшаник, даже на сосну с разбухшими желтыми иглами. Есть пади и тропы, усеянные песком и камнями, по которым крадучись движутся обитатели океанской тайги...

Шипунский мыс — заповедное место. Здесь, на обкатанных морем камнях, живут две-три тысячи сивучей — остатки огромного стада морских львов, населявших когда-то побережье Камчатки. Вот уже шесть лет, как охота на сивучей запрещена, но звери никак не могут забыть об опасности и встречают людей испуганным ревом.

...Море было голубое, маслянисто-спокойное, когда мы на малых оборотах подошли к одному из камней-островков.

В десяти метрах от нас на вершине замшелой глыбы спал сивуч — судя по величине, вожак всего стада. Он был так стар, что шкура приняла цвет сухих водорослей — рыжевато-седой. Сквозь редкую шерсть виднелись складки могучего, жирного тела.

Старый сивуч лежал на боку, закрыв морду огромным ластом. Закапанные чайками бока его мерно вздымались. Мы подошли так близко, что видели восковой, светлый шрам на плече и открытые ветру широкие ноздри и черные иглы усов.

Вода долетала до вершины камня, где лежал старый сивуч. Брызги ложились на шкуру; вокруг зверя, шипя, бежали ручьи. Он спал на голом камне, слишком уверенный в своей силе, чтобы быть осторожным, и одеялом ему служила легкая мгла.

Возле старика лежали два вахтенных сивуча — молодые и гибкие, точно смазанные маслом от ластов до кончиков носа. Они тоже спали, сунув морды друг другу под мышки. Над ними орали чайки, вода, попадая в расщелины, взрывалась с пушечным гулом, а сивучи даже не шевелились. Можно было подойти и взять их голыми руками, сонных, обсохших на ветру.

Разбудила их не морская канонада, а непривычный уху тихий рокот мотора. Оба они проснулись разом и, подскакивая на упругих ластах, кинулись к вожаку. Они взвыли старику прямо в уши. И надо было видеть, какой оплеухой наградил старый сивуч ротозея-вахтенного.

Он поднялся над скалой, ворочая шеей, раздраженный, испуганный, но в то же время полный достоинства, — то был настоящий хозяин Шипунского мыса, великан с морщинистой грудью, толстой шеей и старческими глазами навывкате. Переступая с лапа на лапу, разинув пасть, он взвыл на весь океан от гнева и стра-

ха. Кошачья круглая голова, жесткие усы и длинная грива делали его похожим на льва.

У старика была октава громового оттенка. И, странное дело, голос его не прерывался, не слабел, а наоборот, крепчал с каждой секундой. Вероятно, то было эхо, но мне показалось, что вслед за сивучом начинают звучать скалы, темная вода, туман, закрывающий берег, — точно сами камни поднимают против пришельцев свой угрюмый голос.

Такие концерты слышишь в жизни не часто. Трубач стоял над нами, вскинув голову, и ревел, ревел, ревел так, точно надеялся одним рычаньем разрушить наш катер.

Я так заслушался, что едва не поставил «Смелого» лагом к волне. Скалы зашевелились. Массивные темные глыбы срывались с вершин и беззвучно, почти без брызг, падали в море. То, что издали мы принимали за камни, оказалось сивучами. Сильно работая лапами, они сновали под водой во всех направлениях, иногда проходя даже под килем. Самые отважные из них обгоняли катер и, высунув длинные гибкие шеи, увенчанные кошачьими головами, смело разглядывали бойцов, стоявших на палубе.

— Вот это школа! — сказал кок восхищенно. — Ласточкой, без трамплина!

Он сбегал в кубрик и, вытащив «томп», стал прилаживать к треножнику камеру. Но было уже поздно. Шипунский мыс вместе с полосой бурунов и лохматыми островками отодвинулся в сторону, сивучиные головы превратились в черные вешки, чуть заметные среди полуденных бликов, и только густое дрожание гитарной струны — затихающий рев морских львов — напоминало нам о недавнем зверином аврале.

Рейс был спокойный. Без приключений, среди полного штиля мы дошли до острова Медного и, передав на берег пассажирку и груз, в тот же день повернули обратно.

На этот раз все побережье к югу от залива Кроноцкого было закрыто туманом. Он медленно сползал в море через черные проходы и, сливаясь с морем, образовывал сплошную завесу от трех до пяти миль шириной, над

которой поднимались характерные черно-белые сопки восточного побережья.

В пять утра, двигаясь вдоль кромки тумана, «Смелый» снова поравнялся с мысом Шипунским. И тут мы услышали тугой, очень гулкий удар, умноженный эхом.

— Вероятно, скала оборвалась, — сказал Колосков, — они тут всегда обрываются.

Он перевел телеграф на «тихий», буруны за кормой погасли, и Сачков сразу высунулся из машинного люка.

— Плохой бензин, товарищ командир, — объяснил он поспешно, — оттого и дымит.

— Тише, тише, — сказал Колосков. — Я не о том.

Гулкий пушечный выстрел встряхнул воздух. Эхо медленно скатилось по каменным ступеням, и снова в море стало тихо.

— Я думаю, китобоец, — заметил Сачков.

— Нет. Это на берегу, — сказал я. — Это охотники бьют гуранов.

— Из пушки?

— Из винчестера. В горах всегда громко.

Мы стояли возле самой кромки тумана и говорили вполголоса. Было очень тихо. Колосков приказал заглушить мотор, и под килем плескалась смирная и бесцветная вода.

— В туман не охотятся, — заметил боцман.

— Да, но в горах нет тумана.

— Просто рвут камни, — сказал из кают-компания кок. И снова горы ответили на одинокий пушечный выстрел раскатистым и беспорядочным залпом. Судя по силе и скорости эха, берег был недалек.

— Ясно, пушка, — сказал упрямый Сачков.

— Ерунда! Винчестер, и не дальше полумили.

Мы посмотрели на командира, но Колосков сделал вид, что не слышит, о чем идет речь. Надвинув козырек на нос, он прохаживался по палубе маленькими, цепкими шагами с таким равнодушным видом, точно выстрелы интересовали его не больше, чем прибой, и только время от времени останавливался, чтобы прислушаться.

Наконец он спросил:

— Боцман! Сколько справа по носу?

— Двадцать семь футов, — сказал быстро Гуторов.

— Спускайте шлюпку... Тихо спускайте. Пойдете на

выстрелы... Если шхуна, подниметесь на борт... Курс на ост — шестьдесят градусов. Сигналы сиреной.

— Есть сиреной! — сказал боцман и стал разворачивать в море шлюпбалки<sup>1</sup>.

Кроме Гуторова в шлюпку спустились двое гребцов, Косицын и я. На всякий случай мы взяли с собой пулемет Дегтярева и ручную сирену.

К тому времени, как мы отчалили, туман подошел еще ближе и стоял от нас на расстоянии полусотни хороших гребков сплошной низкой глыбой.

— Весла на воду! — сказал Гуторов шепотом. — Тише на воду... Пойдем «на цыпочках».

Мы вошли в туман и стали медленно подниматься вдоль берега, к северу, лавируя меж бесчисленных рифов, едва прикрытых водой. Был полный прилив, только самые крупные скалы чернели в тумане. Вся мелочь, зубастая, мохнатая, обсыхающая во время отлива, скрывалась теперь под водой. Мы двигались без футштока, осторожно пересекая рыжие пятна, слушая шорох водорослей под килем. С левого борта тянуло сильным и горьким запахом берега, и, все время чередуя удары с шипеньем, грохотал прибой.

Шлюпка шла «на цыпочках», совсем тихо, если не считать плеска воды и скрипа кожи в уключине. Косицын положил под весло нитяную обтирку, и стало тихо, как в погребе. Туман, светлея с каждой минутой, полз на берег наперерез нашей шлюпке, и все мы надеялись, что скоро увидим солнце и странных артиллеристов, гуляющих у Шипунского мыса.

Да, это была пушка, наверняка! Мягкие, басистые, очень сильные удары следовали с неправильными и долгими интервалами.

Мы шли зигзагами, меняя курс после каждого выстрела, так как эхо откликалось сразу на две стороны и с одинаковой силой.

Потом пушка умолкла. Мы продолжали двигаться на норд-вест, осторожно макая весла в белесую воду. Гуторов сидел на руле, приложив к уху ладонь. Туман шел волнами, то светлея, то сгущаясь до сумерек, — тогда по знаку рулевого гребцы сушили весла, и все

---

<sup>1</sup> Ш л ю п б а л к а — изогнутая балка, служащая для подъема и спуска шлюпок.

слушали шум прибоя и звонкое гульканье воды под килем.

Прошло минут десять — пятнадцать, и вдруг Косицын, сидевший на носу шлюпки, сказал страшным шепотом:

— Звонят. Либо церква, либо корабль...

— Просто рында, — сказал боцман.

Все мы услышали далекое дребезжанье корабельного колокола. И это был посторонний корабль, потому что рында на «Смелом» звенит светло и тонко.

— Олещук, на нос! — скомандовал Гуторов.

Я сел на переднюю банку, поставив сошки пулемета на борта. Море было спокойно, и дуло почти не шевелилось. Гребцы стали разворачивать шлюпку на звук, и в этот момент из тумана, справа по носу, немного мористее нас, раздалось протяжное:

— Анн-э-э... О-о-о...

Человек был ближе, чем колокол, и Гуторов решительно повернул шлюпку на голос. Звук перенесся влево. Отвечая кораблю, кто-то, отделенный от нас белой стеной, продолжал монотонно кричать:

— Анн-э-э... О-о-о...

Мы сделали сотню гребков, и вдруг метрах в двадцати от нас желтое пламя с грохотом вырвалось из тумана.

— Ходу! — сказал Гуторов, привстав. — А ну, не частить...

...То была кавасаки — грубо сколоченная моторная лодка с острым клинообразным носом и низкой надстройкой на корме. Двое рыбаков в вельветовых куртках и фетровых шляпах осторожно выбирали с кормы туго натянутый трос, а третий, стоя к нам вполоборота, держал наизготовку странное ружье с толстым коротким стволом, издали похожее на старый пулемет Шоша. Из дула торчала массивная красная стрела, соединенная с тонким канатом.

Услышав плеск шлюпки, стрелок обернулся и, должно быть со страху, нажал на крючок...

Горящий воздух и свет ударили мне в лицо. Я почувствовал резкую боль в щеке и едва не ответил очередью по стрелку, но Гуторов быстро сказал:

— Отставить. Эй, аната... Брось!

Стрела расщепила борт и ушла в воду, увлекая за

собой канат. Японец, красивый толстогубый мальчишка, повязанный по-бабьи платком, стоял неподвижно, и из опущенного ствола странного ружья еще тек дым. У ног стрелка вертелась небольшая железная катушка; канат убежал в щель между бортом кавасаки и шлюпкой.

Двое других японцев молча подняли руки. То были зверобои с Хоккайдо — нахальные и, должно быть, тертые парни, потому что один из них гаркнул во всю глотку:

— Конници-ва! Эй, здравствуй, гепеу!

— Тише, тише, — сказал боцман. — Так где ваша шхуна?

— Не понимау, — ответили хором японцы.

— Аната, но фуне-ва доко-кара китта но дес ка?<sup>1</sup> — спросил Гуторов.

— Викаримасен.

После этого все трое перестали понимать Гуторова и на все вопросы отвечали односложным «иэ». Стрелок вскоре опомнился и потянулся к свистку, висевшему у пояса на цепочке, но Широких закрыл ему рот ладонью и сказал насколько мог убедительней:

— Твоя мало-мало свисти... Моя мало-мало стреляй. Хорошо?

На всякий случай мы сделали кляпы из полотенец и, связав охотников, уложили их на палубе лицами вниз. Корабельный колокол продолжал таякать в тумане, а всякий крик мог спугнуть судно, пославшее к берегу кавасаки.

Мы отобрали метров двести манильского троса и два широкоствольных гарпунных ружья, выстрелы которых мы принимали за пушечные. Короткие, очень массивные, они заряжались с дула кованными железными стрелами, соединенными посредством ползунка с крепким и тонким канатом. Охота с такими ружьями очень несложна. Подойдя к сивучам метров на двадцать — двадцать пять, зверобои открывали огонь, а затем с помощью веревочной петли и лебедки вытаскивали тушу на палубу. Возле носового люка лежало восемь молоденьких черновато-коричневых сивучей, а с кормы отвесно уходил в воду не выбранный после выстрела

---

<sup>1</sup> Ваш корабль откуда пришел?

канат. Очевидно, гарпуны употреблялись не первый раз, потому что красный фабричный лак облез, а на раскрывках, которые сминаются при ударе, виднелись следы кузнечной правки.

Гуторов приказал выбрать конец. Канат пошел плавно, но так туго, что затрещали волокна. Лебедка намотала на барабан метров сорок гарпунного каната, и вскоре мы увидели, как, оторвавшись от дна, медленно поднимается огромная глыба, заросшая водорослями.

— Хозяин! Ах, черт! — сказал шепотом Широких.

Мы подтянули убитого сивуча к борту. Там, где шея переходит в грудь, торчал конец ружейного гарпуна. «Хозяин» лежал в зеленой тине, открыв пасть, и вода обмывала ему желтые клыки, ребристую лиловую глотку и выпуклые зеленые глаза под стариковскими бровями. А на боках и спине зверя, точно водоросли, шевелились густые рыжие волосы. Он был очень красив даже мертвый.

Рында продолжала тихонько звякать в тумане. Мы вытащили мертвого сивуча, завели мотор кавасаки и пошли прямо на звук, ведя за собой опустевшую шлюпку.

Между тем утренний бриз нажимал с моря все сильнее и сильнее, отгоняя туман в сопки. Над нами появились голубые просветы, и боцман, опасаясь, что захват кавасаки будет обнаружен раньше, чем нужно, приказал прибавить ход.

Мы шли прямо на колокол и вскоре стали различать сквозь гудение меди глуховатый стук мотора, включенного на холостую. У Гуторова был отличный слух. Он прислушался и твердо сказал:

— «Фербенкс». Сил девяносто.

Очевидно, на шхуне слышали шум кавасаки, потому что колокол умолк и кто-то окликнул нас (впрочем, без всякой тревоги):

— Даре дес ка?<sup>1</sup>

— Тише... тише, — сказал Гуторов.

Мы продолжали идти полным ходом.

— Даре дес ка?!

Косицын взял отпорный крюк и перешел на нос, чтобы зацепиться за шхуну. Остальные стояли наготове вдоль борта.

---

<sup>1</sup> Кто это?

Пауза была так длинна, что на шхуне забеспокоились. Кто-то тревожно и быстро спросил:

— Аннэ? Акита?!

Молчать дальше было нельзя. Мы услышали незнакомые слова команды и топот босых ног.

— Ну, смотрите, что будет, — сказал шепотом Гуторов.

Он откашлялся, сложил ладони воронкой и крикнул застуженным, сипловатым баском:

— Соре-ва ватакуси... Тётто-маттэ!<sup>1</sup>

Это было сказано по всем правилам — скороговоркой и слегка в нос, по-токийски. На шхуне сразу успокоились и умолкли.

— Вот и все, — просинел боцман.

Он был очень доволен и подмигивал нам с таинственным и значительным видом бывалого заговорщика.

В эту минуту мы слышали ворчанье лебедки и мерное клацанье якорной цепи. Одновременно свободные перестуки мотора перешли в надсадный гул, недалеко от нас сильно зашумела вода. Шхуна уходила от берега, не дождавшись своих зверобоев.

Вода еще вспучивалась и шипела, когда мы подошли к месту, где только что развернулась шхуна.

— Самый полный! — сказал Гуторов. — Дайте сирену!

Мы помчались вслед за беглянкой по молочной, пузыристой дороге. Мотор кавасаки был слишком изношен и слаб, чтобы состязаться с «Фербенксом», но мы знали, что «Смелый» дежурит у кромки тумана, и, непрерывно сигналив, продолжали преследовать шхуну.

Сначала след был отчетливый. Шхуна шла курсом прямо на ост, очевидно, рассчитывая поскорее выбраться из тумана.

Стук мотора становился все глуше и глуше, вода перестала шипеть, и только редкие выпучины отмечали путь корабля. Шхуна заметно отклонилась на юг. И это было понятно: услышав шум «Смелого», который двигался параллельно японцам по кромке тумана, хищники медлили выйти из надежного укрытия.

Так мы шли около получаса: «Смелый» под солнцем,

---

<sup>1</sup> Это я... Одну минутку!

вдоль кромки тумана, шхуна — параллельно катеру, но вслепую, а за хищником, едва различая след, плелась наша кавасаки со шлюпкой на буксире.

Потом мы увидели гладкий широкий полукруг — след крутого разворота: шхуна внезапно повернула на север. В ее положении это было единственно верный маневр. Мы убедились в этом, как только вышли из тумана и увидели большую голубую шхуну с тремя иероглифами на корме.

Прежде чем «Смелый» разгадал хитрость японцев и лег на обратный курс, то есть на норд, шхуна выгадала десять минут, а если перевести на скорость — не меньше двух миль. Этого было достаточно, чтобы уйти за пределы запретной зоны. Тут мы заглушили мотор и первый раз в жизни стали наблюдать со стороны, как «Смелый» преследует хищника.

Проскочив вперед, катер вскоре повернул обратно и полным ходом пошел наперерез шхуне. Было видно, как у форштевня «Смелого» растут пенистые усы, как наш катер задирает нос и летит так, что чайки стонут от злости, машут крыльями, не могут догнать и садятся отдыхать на волну.

Сачков взял от мотора что мог. Если представить море в виде шахматного поля, катер мчался как ферзь, а шхуна ползла точно пешка. Беда была в том, что пешка уже подходила к краю доски и сама становилась ферзем. За пределами запретной трехмильной зоны сразу кончилась погоня. И все это потому, что кавасаки спугнула шхуну в тумане.

— Это «Майничи-Мару», — сказал Гуторов. — «Майничи-Мару» из Кобэ.

Боцман хмуро разглядывал палубу. «Смелый» не спеша вел к Петропавловску кавасаки с тремя японцами, а все свободные от вахты стояли на баке и провожали глазами далекую шхуну.

— Благодарю, — сухо сказал лейтенант. — Очень рад, что вы такой зоркий...

— Я, товарищ командир...

— Знаю, знаю, — ворчливо сказал Колосков и стал выколачивать о каблук холодную трубку. — Никто не виноват. Все герои с крючка щуку снимать. И вообще, что за черт? На пулемете чехол хуже портянки, лебедка облуплена...

Все мы думали, что боцману грозит разнос. У командира медленно багровела шея, но он взял в зубы пустую трубку и, пососав, неожиданно заключил:

— Все отчего? В грамматике дали осечку... Надо бы учтивый глагол... А вы... сразу ватакуси... Эх, жмет!

— А что им за это будет? — спросил Косицын, с любопытством поглядев на зверобоев.

— Лет пять... А скорей всего обменяют, — объяснил Широких. Сидя на корточках, он очищал раскрылки гарпуна от сухожилий и кожи мертвого сивуча.

— Значит, гражданские будут судить, — сказал Косицын с досадой.

— А тебе что?

— Ничего... Эх, такого быка загубили...

И все мы посмотрели на старого сивуча.

«Хозяин» лежал на палубе кавасаки, большой, гладкий, усатый, и смотрел в море злыми глазами.

Он был очень красив даже мертвый.

1938

## На маяке

### I

Представьте чудо: на спелом, наливном помидоре вдруг выросли обкуренные махоркой усы, засеребрился бобрик, взметнулись пушистые брови, потом обозначился мясистый нос, блеснули в трещинах стариковские голубые глаза, и помидор, открыв рот, прошипел застуженным тенорком:

— Со мною, браток, не заблудишься. Маяк моряку — что тропа ходоку. — И, усмехнувшись, добавил: — Моя звезда рядом с Медведицей.

Таков дядя Костя — отставной комендор, портартурец, смотритель маяка на острове Сивуч.

Фамилии его не помню — не то Бодайгора, не то Перебийнос, что-то очень заковыристое, в духе гоголевских запорожцев. Не подумайте, однако, что на острове жил какой-нибудь отставной Тарас Бульба в шароварах шире Японского моря.

Дядя Костя был моряк старого балтийского засола: аккуратный плотный старичок в бушлате с орлеными

пуговицами, обтянутыми черным сукном, и холщовых брюках, заправленных в сапоги.

Хозяйство его было невелико. Побелевшая от соли чугунная башенка на кирпичном фундаменте, бревенчатая сторожка под цинковой крышей и на площадке, поросшей жесткой темно-зеленой травой, десяток бочек с керосином и маслом — вот все, что могло удержаться на каменной глыбе, вечно мокрой, вечно скользкой от тумана и брызг.

Дядя Костя драил свой остров, как матрос корабельную палубу. Прибой всегда приносит сюда разный мусор: бамбуковые шесты, доски, бутылки, обрывки канатов, стеклянные наплавы от сетей и даже остатки неведомо где разбитых кунгасов. Смотритель неумоимо сортировал и укладывал эту добычу штабелями вдоль берега. Любо было смотреть на дорожки, обложенные по краям кирпичом, на щегольскую башенку маяка с полукруглым куполом цвета салата, на флигель, крашенный шаровой краской.

Медная рында маяка горела даже в тумане. Прежде колокол висел на столбе, и дядя Костя дергал веревку, как любой пономарь, но в прошлом году он сделал ветряк и присоединил к нему нехитрую машину — подобие тех, что куют гвозди на старинных заводах Урала. Через каждые десять—двадцать секунд тяжелый чурбан, вздернутый вверх на веревке, срывался со стопора и дергал сигнальный конец. А так как туманы и ветры постоянно кружатся в море, колокол почти не смолкал.

Свой остров дядя Костя считал кораблем и всерьез называл маяк рубкой, флигель — кубриком, а заросшую жесткой травой площадку у башенки — палубой. Вместе с дядей Костей на «корабле» жили сменщик смотрителя, тихий юноша ростом чуть пониже маяка, сибирская лайка и черная пожилая коза, которая всюду сопровождала хозяина и даже влезала по винтовой лестнице к фонарю.

Последний раз я видел его в августе. Подвижной, багровый от избытка крови и силы, с широким, выскобленным досиня подбородком, он сказал на прощанье:

— Пойду зажгу свечку японскому богу.

Тридцать лет, поднимаясь на вышку по узкой же-

лезной лестнице, он повторял одну и ту же нехитрую шутку, и тридцать лет случайные гости улыбались чудачку. Скорее лопнет скала, чем дядя Костя изменит привычке.

«Две белые вспышки на пятой секунде» — так сказано в лоциях<sup>1</sup>, так знали на всех кораблях, и только один раз дядя Костя не смог зажечь маяк.

Это было в четверг, накануне прихода «Чапаева», «Смелый» стал на текущий ремонт, а команду уволили на берег. Три дня мы могли жить на твердой земле, не слыша плеска моря и шума винтов. Каждый использовал время по-своему. Широких выпил пять кружек какао и лег спать, попросив дневального, чтобы его разбудили на третьей сутки к обеду, Косицын начал варить повидло из жимолости, а Сачков и я отправились к Утиному мысу за козами.

Я всегда ходил на охоту вместе с Гуторовым. Легкий на ногу, ясноглазый и тихий, он был родом из Керби — славного поселка рыбаков и охотников. Наладить медвежий капкан, пройти полсотни километров на батах по реке или разжечь костер из мокрого тальника было для него делом знакомым.

На этот раз боцман был занят. Вместо него со мной увязался Сачков.

Как это случилось, не знаю.

Я всегда избегал слишком шумных соседей, — тот, кто часто открывает рот, не может удерживать в голове что-нибудь путное. К тому же осень в сопках так хороша, так тиха и строга, что совестно нарушить ее покой болтовней или смехом.

Я хотел высказать эти трезвые мысли Сачкову и не смог, пораженный блестящей внешностью друга.

Вообразите колокольню в зеленой войлочной шляпе, лихо загнутой сбоку, в двубортной щегольской куртке, вельветовых брюках и широком поясе с никелированными крючками для дичи. Прибавьте сюда запятнанный птичьей кровью ягдташ, флягу, нож-кинжал, златоустовский черненый топорик, чайник, рюкзак, бердану, на которой еще блестела фабричная смазка, скрипучие болотные сапоги, воняющие топью и дегтем, — великолепные сапоги, способные распугать зверей на

---

<sup>1</sup> Лоция — наука кораблевождения.

шестьдесят миль в окрестности, — и вы поймете, как неотразим был Сачков.

Еле удерживая смех, я спросил:

— Кого же ты ограбил?

Он невозмутимо ответил:

— Лекпома. Он привез эти штуки в прошлом году, но стесняется пойти на охоту в очках. — И спросил с довольной улыбкой: — Хорош?!

— Хоть на выставку.

— Ну еще бы... Знаешь, Алеша, я давно собирался подбить какую-нибудь росомаху. Мабузо! Ко мне!

Тут только я заметил, что вокруг Сачкова семенит кургузый пес, поросший вместо шерсти какими-то перышками бесстыже-розового цвета.

— Это тьер-терье-буль-гордон-лаверак! — сказал гордый Сачков. — Я взял его под расписку. Бурдаст до невозможности. Мабузо! Шерше!

Пес послушно слазил в канаву, вытащил обрывок калоши и взвыл от восторга.

— Видал? Ах ты жулик! В Голландии такая штука стоит тысячу гульденов... Ну, идем!

И мы пошли. Впереди с калошей в зубах — буль-гордон-тьер-терье-лаверак, а за ним, сияя зубами и никелем застежек, Сачков, сзади я, озадаченный натиском бравого моториста.

...Конечно, мы никого не убили, хотя прошли по горам не меньше двадцати миль. В это время года на сопках, в ягодниках, постоянно встречаются мирные, сытые медведи. Их шерсть густа и остиста, а пасти лиловые от жимолости, которую медведи собирают усерднее, чем мальчишки. Наевшись рыбы, они «полируют кровь» перед спячкой и целыми группами пасутся в невысоких кустах.

Медвежья охота на Камчатке не считается серьезным занятием, но даже в самых верных местах мы не могли настигнуть ни одного лакомки. Буль-гордон мчался впереди нас, тявкая, точно колокол на пожарной возке.

Собака должна быть большой, молчаливой, суровой, полной особого собачьего достоинства. Я не люблю визгливых щенячьих сантиментов, слюнявых языков и ползанья на брюхе перед хозяином. А тут мы оба не успевали вытирать слюни буль-бом-тьера. В

жизни я не видел более восторженного, вертлявого подхалима.

Время от времени я подзывал пса и затыкал ему пасть куском колбасы. Благодаря этой хитрости нам удалось подойти довольно близко к козуле, но едва мы прицелились, как буль-лаверак выплюнул затычку и взвыл от восторга.

— Вероятно, он привык брать что-нибудь крупное, — сказал, смутившись, Сачков, — я сам видел золотую медаль. На одной стороне — свинья, а на другой — голый грек.

Мы показали буль-терьеру медвежий след. Он задумался, сморщил лоб, потом понятился... и, совестно сказать, раздалось стыдливое журчание.

...Вскоре пес надоел мне, как больной зуб. Он занозил лапу и поднял такой вой, что сердце разрывалось от жалости. Сачков взял его на руки, пес дышал ему в ухо, пуская слюни на куртку.

Я проклинал себя за слабость духа и готов был вогнуть все шестнадцать патронов в розовый бок визгливого буль-бом-тьера. Удерживала меня только расписка, которую Сачков оставил хозяину.

## II

...К вечеру мы снова увидели море. Маслянисто-желтое, гладкое, оно облизывало берег с глухим, сытым ворчаньем. Мертвая зыбь — эхо дальнего шторма — не спеша катила на север пологие складки.

Было тихо. Мы сняли мешки и долго стояли на гребне горы, захваченные величавой, грозной картиной.

Огромная туча, грифельно-синяя посередине, раскаленная по краям, прижала солнце к воде. Ее длинное тело походило на крейсер с тяжелыми уступами башен, форштевнем и низкими трубами, из которых косо летел черный дым. Занимая полнеба, туча катилась равномерно и медленно, мрачняя с каждой секундой, а солнце, обреченное на смерть, но все еще сильное, сопротивлялось натиску с удивительной стойкостью. Оно взрывало, плавило, прожигало колючими вспышками то башни, то корпус чудовища, и сквозь рваные дыры корабельной брони взлетали в небо пучки живого, дрожащего света.

То была славная короткая схватка над морем. Чем красней становился остывающий диск, тем свежей и моложе казались звезды над тучей. Они зрели, наливались, становились яснее с каждой секундой, а солнце, побежденное, но не умершее, отдавая звездам свой жар и ненависть к мраку, погружалось в холодную воду все глубже и глубже.

Наконец, не выдержав тяжести тучи, оно лопнуло под килем корабля. В последний раз пробежал по морю летучий огонь, и сразу стало темно и скучно.

Я стал увязывать мешок, поглядывая на Сачкова. Несуразный парень, равнодушный ко всему на свете, кроме четырехтактного мотора и футбольной площадки, улыбался мечтательно и застенчиво. Глаза его были закрыты, точно он хотел запомнить грозную картину баталии.

Я тихо дотронулся до плеча моториста. Сачков очнулся и с удивлением взглянул на меня.

— А хорошо!.. Черт знает как хорошо! — сказал он дрогнувшим голосом. — Зажарить бы сейчас яичницу! Можно без колбасы, но лук обязательно... Как ты смотришь, Алеша?

Я молча зашагал вперед. Все механики одинаковы. Они путают сыча с куропаткой и всерьез полагают, что лампа в сто свечей прекраснее солнца.

Вскоре мы сбились с тропы и пошли напрямик по березняку и кустам жимолости, спускаясь к морю — все ниже и ниже.

Было время отлива. Прямо перед нами смутно блестела полоса мокрой гальки, налево широким серпом изгибалась бухта Желанная, а справа горбатился остров Сивуч с темной башенкой маяка, — да, темной, несмотря на позднее время. Я удивился, почему дядя Костя сегодня так запоздал. Шел восьмой час, и любой корабль, огибающий мыс Зеленый, мог сыграть в жмурки с камнями.

«Две белые вспышки на пятой секунде...» Мы подождали минут пять и снова пошли по кустам. Я надеялся добраться к мысу до прилива, перейти вброд неглубокую речку Соболинку и берегом сегодня вернуться в отряд.

Сачков о маршруте не спрашивал. Он держался мне строго в кильватер, чмокал губами и бормотал всякие

глупости, которые ему подсказывал отощавший желудок.

Наконец, промокнув до пояса, исцарапав в кровь руки, мы почти на ощупь выбрались к заброшенной фанзе у подножия горы.

Два года назад здесь жил «рыбак», имевший скверную привычку перемигиваться фонарем с японскими шхунами. Мы взяли его в дождь, на рассвете, вместе с винчестером и записной книжкой, доставившей шифровальщикам много возни. Старый рыбачий бат, залатанный цинком, еще лежал у ручья.

Боцман, я и Широких изредка охотились в этих местах и каждый раз, когда ночь заставляла нас возле мыса Зеленого, ночевали на теплых канах<sup>1</sup> под шум ветра, гремевшего оконной бумагой.

Возле фанзы мы еще раз посмотрели на маяк. Он темен. Даже в окнах сторожки, обращенных в сторону берега, не было видно огней.

— Табак их дело, — заметил Сачков, — смотри, как заело моргалку.

— Нет, не то.

— Ну, значит, спички не в тот карман положили. Он оглядел море и вкусно зевнул.

— Зажгут... Давай спать, Алеша.

С этими словами он толкнул дверь и вошел в холодную фанзу.

Я нащупал на полочке каганец и спички и осветил комнату. Вязанка сучьев, котелок и чайник были на месте. Кто-то из охотников, ночевавших недавно в фанзе, оставил, по доброму таежному обычаю, полпачки чаю, горсть соли и кусок желтого сала.

Пока мы разжигали печку, буль-террак развязал зубами мешок и погрузился в него до хвоста. Мы вытащили его, растолстевшего вдвое, с куском грудинки в зубах, и, распластав на канах, с наслаждением выдрали.

— Вероятно, медаль ни при чем, — сказал с досадой Сачков, — думаю, это помесь.

— Да... курицы с кошкой.

Через полчаса, раздевшись догола, мы сидели на горячих циновках, пили чай и дружно ругали бом-брам-тьера...

---

<sup>1</sup> К а н ы — горизонтальные дымоходы-лежанки.

### III

«Две белые вспышки на пятой секунде...»

Каждый раз, когда фонарь поворачивался к берегу, промасленная бумага в окнах фанзы вспыхивала на свету.

На этот раз окно было темным. Я смотрел на бумагу, стараясь сообразить, что случилось с дядей Костей. Заболел? Упал с винтовой лестницы? Перевернулся в свежую погоду вместе с моторкой?

В городе давно поговаривали, что дядя Костя тайком ездит за водкой. Но тогда что делает сменщик? Спит? А быть может, испортился насос, подающий керосин к фонарю?

Чем больше я думал, тем тревожней становились догадки. Был четверг. В этот день в городе ждали «Чапаева» с караваном тральщиков и двумя плавучими кранами. Все суда шли из Одессы незнакомой дорогой... А что, если?... Ведь уселась на камни «Минни-Галлер» в прошлом году...

Накинув бушлат, я вышел из фанзы. Ни огня, ни звука. Море было пустынно, небо звездно. Слева, из бухты Желанной, медленно надвигался туман, обрывистый край его походил на высокий ледник.

Я вернулся в фанзу и, разбудив Сачкова, предложил немедленно отправиться в город. Идя нижней тропой, за семь часов мы свободно дошли бы до порта.

Против обыкновения Сачков не спорил. Он молча оделся и только в дверях фанзы спросил:

- Значит, «Чапаев» нас подождет?
- Не оstri. А что ты предлагаешь?
- Переправиться...
- На че-ом?
- А на этом... на бате.

Мы осмотрели лодку. Вероятно, она была старше нас, вместе взятых. Борта ее искрошились на целую треть, днище, исшарканное в путешествиях по горной речке, прогибалось под пальцами. Две большие дыры были забиты кусками кровельного цинка. Короче говоря, это был гроб из старого тополя, и довольно подержанный.

Я немедленно высказал свои соображения Сачкову, но упрямый малый только мотнул головой:

— Выдержит... Каких-то полмили...

— Однако на тот свет еще ближе...

— Не пугай... Скажи просто — дрейфишь... Я могу и один.

Убедил меня не Сачков, а вид беспомощного, притихшего маяка. Скучно было видеть темное море без огней, без веселой звезды дяди Кости, аккуратно моргавшей всем кораблям.

Через десять минут мы были на середине пролива.

Я греб с кормы коротким веслом, а Сачков сидел на дне бата, вытянув ноги, и потихоньку помогал мне ладонями.

Вода плескалась возле самой кромки борта, но бат шел быстро, не хуже шестерки.

Вскоре я заметил, что Сачков как-то странно ерзает в лодке.

— А знаешь что, — сказал он, поеживаясь, — ты, пожалуй...

— Не вертись... Что такое?

— Нет... я так... ничего.

Я нагнулся к Сачкову и увидел, что моторист сидит по пояс в воде. Заплаты отстали, со дна и обоих бортов толстыми струями била вода.

— Вычерпывай, черт! Что ж ты молчал?

— Н-не могу... подо мной фонта...

Бушлаты и брюки мы снимали в воде. Ух, и свежо было сентябрьское смирное море! Ледяной обруч сдавил грудь и горло. Захотелось назад, на берег, из черной, плотной воды. Но Сачков уже плыл впереди, приплясывая, вертя головой, и лихо крестил море саженками.

Славный малый! Он шел, как в атаку, не советуясь ни с кем, кроме горячего сердца. Такие размашистые ребята, если их не придержать за пятку, готовы перемахнуть через море.

Впрочем, в то время рассуждать было некогда. Кожа моя горела от подбородка до пяток. Я шел брассом, экономя силы, но стараясь не очень отставать от Сачкова.

Время от времени мы, точно нерпы, поднимали головы над водой, чтобы лучше разглядеть маяк. Он был темен — низкий столбик среди тихой воды и звездного неба, — ни огня, ни звука, которые напомнили бы нам о жизни на острове!

Тревога и холод подгоняли нас все сильнее и сильнее. Не такой дядя Костя был человек, чтобы зажечь свою мигалку позже первой звезды.

Сачков все еще шел саженками, щеголяя чистотой вымаха и гулками шлепками ладоней. При каждом рывке тельняшка его открывалась по пояс, но вскоре парню надоело изображать ветряную мельницу. Он стал проваливаться, пыхтеть, задевать воду локтями и наконец погрузился в море по плечи.

Мы пошли рядом, изредка, точно по команде, приподнимаясь над водой. Остров казался дальше, чем можно было подумать, глядя с горы.

— Почему он не звонит? — спросил, задыхаясь, Сачков.

— Хорошая видимость, — сказал я.

Набежал ветер и потащил за собой мелкую рябь. Какая-то сонная рыба плеснулась возле меня. Холод стал связывать ноги. Чтобы разогреться, я лег на бок и пошел овер-армом<sup>1</sup>, сильно работая ножницами.

— Почему он не звонит? — спросил я задыхаясь.

— Потому что шт-тиль, — ответил Сачков.

— Замерз?

— Эт-то т-тебе п-показалось...

Сачков отставал все больше и больше, бормоча под нос что-то невнятное. Метрах в ста от берега он рассудительно сказал, отделяя слова долгими паузами:

— Ты... однако... не жди... я потихоньку.

— Что, Костя, застыл?

Он засмеялся и вдруг, вскинув упрямую голову, легко прошелся саженками.

— Б-бери правей... З-зайдем с р-разных с-сторон.

Он говорил спокойно, и я поверил: не подождал, не вернулся к упрямцу. Остров был близко. Тревога и холод гнали меня к маяку... Как я проклинал себя часом позже!

Я видел полосу пены и темный силуэт ветряка на скале. Крылья не шевелились, колокол молчал. Странная в этих местах, прозрачная, почти горная тишина накрыла маленький остров. Даже волны, обычно размашистые, озорные, взбегали на берег на цыпочках, с тихим шипением.

Вскоре я перестал чувствовать холод. Как автомат,

---

<sup>1</sup> Овер-арм — способ плавания на боку.

у которого завод на исходе, я медленно поджимал и выбрасывал руки с растопыренными, онемевшими пальцами... Ноги? Я давно потерял власть над ними. Правая, по привычке, еще сокращалась, левая тащилась за мной на буксире, бесполезная и чужая.

Не знаю, плыл ли я или превратился в буюк, одетый в тельняшку. Берег перестал надвигаться. Он был рядом, горбатый и темный...

Еще десять взмахов, еще пять...

И вдруг мерзкое, почти судорожное ощущение страха. Что-то длинное, цепкое скользнуло по моему животу и коленям. Я отчаянно рванулся вперед. Еще хуже! До сих пор я не верил рассказам о нападениях осьминогов. Скользкие, бледные твари с клювами попугаев, которые попадались в сети рыбакам, были слишком мелки, чтобы внушить страх. Но здесь, рядом с берегом, над камнями... И снова отвратительное ласковое прикосновение к животу и ногам... Кто-то осторожно и тщательно ощупывал меня.

И, только оторвав от горла тонкую плоть, я понял: подо мной были водоросли... Их огромные плети, поднимаясь со дна, образуют сплошные заросли, более высокие и глухие, чем тайга.

Для пловца такие встречи не страшны. Но что делать, если с кровью застыла воля!

Никто не был свидетелем финиша. Я мог бы сказать, что моряк отряхнулся и, смеясь над испугом, догреб тихонько до берега. И это будет неверно.

Первым моим чувством был страх. Куда ни шло — захлебнуться волной, чистой, тяжелой. Другое — запутаться в скользких и крепких петлях, воняющих йодом, биться и, обессилив, уйти на дно.

Страх, бесстыдный, подлый, жестокий, выбросил меня на поверхность и погнал к берегу, точно ветер. Я забыл о маяке, дяде Косте, даже о Сачкове, барахтавшемся позади меня.

Берег! Он вытеснил все, о чем я думал минуту назад. Как собака с камнем на шее, я скулил и рвался к земле, колотя воду и гальку неожиданно набежавшего берега.

Помню, на четвереньках я вылез на остров, дополз до водорослей и, вырвав жесткий пучок, стал, сдирая кожу, растирать онемевшие ноги.

А потом вместе с теплом вернулись человеческое достоинство и стыд.

Первая мысль была о Сачкове. Он держался левее меня и должен был выбраться на северный край островка.

Я побежал вдоль берега, окликая Сачкова. Ни звука... темнота... холод... звезды. Быть может, моторист вылез южнее?

Дважды обежав остров, я наконец увидел Сачкова. Он был всего в десяти метрах от берега и, как показалось мне, вовсе не двигался. Я окликнул его... Из упрямства или от слабости Сачков не ответил на голос, а только мотнул головой.

Я влез в воду и схватил... шар. То, что представлялось в темноте головой моториста, оказалось большим стеклянным поплавком в веревочной сетке. Тысячи таких шаров, смытых штормами, блуждают во время пугины у побережья Камчатки... Поплавок медленно подплывал к берегу, покачиваясь на пологой волне.

В это время я услышал скрип гальки. Кто-то низкий, в черном бушлате, семенил по камням. Я окликнул смотрителя, но в ответ слышались собачий визг и звяканье бубенца: коза и собака подбежали ко мне одновременно.

Лайка ткнула мне в руку мокрый нос, отбежала и остановилась, проверяя, пойду ли я следом за ней.

Потом она стала тявкать. Она звала к маяку, ца восточную сторону острова, но я, все еще надеясь увидеть Сачкова, снова повернул к берегу.

Собака умчалась в темноту. Я медленно побрел вдоль тихой воды.

Лайка тявкала все настойчивей, все громче.

Она забежала вперед и ждала меня на восточном краю островка, у самой воды. Не видя причины собачьего беспокойства, я хотел направиться дальше, но лайка вцепилась зубами в край тельняшки. Она тащила меня прямо в море.

И тут я заметил Сачкова. Моторист лежал ничком в воде, метрах в пяти от берега. Очевидно, он настолько обессилел, что не мог подняться на скользких камнях.

Бедняга... Он выпил сегодня больше, чем за всю свою жизнь. Минут сорок я вытягивал и складывал ему

руки, и с каждым взмахом изо рта моториста, как из хобота помпы, хлестала вода.

Наконец я услышал, как вздрогнуло сердце.

Сачков был холоден, неподвижен, тяжел, но веки уже дергались и маятник потихоньку вел счет времени.

Я с трудом втащил моториста в сторожку и, прислонив к стене, стал искать спички.

Кто-то спал на топчане у печи. Я нащупал небритую щеку, пальцы, плечо. В кармане бушлата громыхнул коробок...

...Вспыхнула спичка. Ничего тревожного. Все как прежде, весной. Фотографии портартурцев между двух рушников, медная корабельная лампа на проволоке, самодельный выскобленный добела стол. Чайник, кусок хлеба, две банки консервов. Видимо, хозяева недавно поужинали.

На топчане, уткнувшись носом в подушку, спал сменщик смотрителя. Странное дело, парень не снял даже сапог.

Круглые стенные часы — гордость смотрителя — пробили десять. Я зажег лампу и осмотрелся внимательней. Первое впечатление было, что сменщик пьян: так неестественна, напряженно-неловка была поза спящего. И только встряхнув фонащика за плечо, я понял, что он мертв...

Рот его был широко раскрыт, подушка искусана и облита какой-то зеленой, кисло пахнущей жидкостью. Искаженное, точно от удушья, потемневшее лицо и сведенные судорогой пальцы напоминали о тяжелой агонии.

Смотрителя в комнате не было. Спотыкаясь на скользких ступенях, я кинулся наверх.

Дядя Костя лежал на фонарной площадке. Стекла маяка были открыты, и часовой механизм жужжал, поворачивая круглый щиток. Возле смотрителя были рассыпаны спички. Видимо, еще днем, почувствовав себя дурно, дядя Костя пытался зажечь фонарь... А может быть, и зажег, но не смог закрыть ветровое стекло...

Смерть пошутила над дядей Костей, изуродовав усмешкой его доброе лицо. Брови старика были высоко вскинуты, один глаз прищурен, рот широко растянут. Казалось, он вот-вот зашевелится и просипит: «Пойду, братки, поморгаю японскому богу».

Я наклонился к старику и снова почувствовал дурной, едкий запах. Пятна высохшей рвоты виднелись на бушлате и железном настиле.

Обеими руками смотритель держался за ворот. Пуговица была вырвана с мясом и лежала поблизости. Я сунул ее в карман.

Кровь токала в голову — мне было жарко. После ледяной ванны и возни с мотористом я соображал очень туго. Убиты? Когда, с какой целью? И ни одной царапины... Удушены? Кем? Ерунда.

Я спустился в пристройку, где хранились запасные горелки, флаги, ракеты, и раскрыл вахтенный журнал на 14 сентября.

*«...6 часов. Ясно. Ветер три балла. В четырех милях прошел китобоец. Курс — норд...»*

*«...11 часов. Ясно. Две японские шхуны. Название не установлено. Курс — зюйд-ост...»*

Угловатым стариковским почерком, похожим на запись сейсмографа, было отмечено все, что видел дядя Костя в тот день.

Танкер... Кавасаки... Снабженец. Опять китобоец. Никаких происшествий... И только взглянув вниз, в правый угол, куда заносят все, что относится к корабельному распорядку, я увидел запись:

*«2 час. пополудни. Обед обыкновенный. Гречн. каша, две банки рыбн. конс. Урюк.»*

*«2 час. 50 мин. Приступлено к текущим работам, как-то: окраска станины ветряка, расчистка двора.»*

*3 час. Младший фонарщик Довгалева Алексей лег на койку, сказавшись больным. Резь в желудке. Рвота. Есть подозрение в части рыбн. конс. Приняты меры. Сознание ясное.*

*3 час. 30 мин. Те же признаки в отношении начальника маяка. Жалобы на огонь в желудке. Рвота. У Довгалева А. Н. — судороги, пена. Сознание ясное.*

*3 час. 47 мин. Потемнение в глазах. Синюха конечностей. Будучи спрошен о самочувствии, ответил: «Рано хороишь... не вижу огня». После чего признаков не обнаружено».*

Слово «признаков» было зачеркнуто, а сверху аккуратно написано: «пульса».

Дальше я не читал. Мне почудилось, будто вместе с туманом к острову приплыл пароходный гудок. Он

звучал нетерпеливо, хрипло, ритмично. Или то жужжал, резонируя в башенке, часовой механизм?..

Маяк был мертв. Слепым, тусклым глазом он смотрел в темноту.

«Две вспышки на пятой секунде...» Я помнил только одно: огонь!

Но легче было зажечь бревно под дождем, чем огромную лампу с какими-то странными колпачками вместо горелок. Оплетенная медными трубками, неприступная и холодная, она отражала всеми зеркалами только свет спички. Из краников на руки брызгал не то керосин, не то смазка.

А гудок ревел все настойчивей, все тревожней... Огонь!

Теперь я уже различал иллюминаторы пароходов, выходивших из-за мыса Зеленого.

Временами туман расходился, тогда открывались мерцающие цепи огней.

В коробке оставалось не больше пяти спичек. И вдруг я понял — маяк не зажечь. Возбуждение, охватившее меня при виде огней, сменилось ровным, спокойным упрямством.

Я спустился на площадку и стал складывать в кучу все, что накопил смотритель: жерди, циновки, доски, порожние ящики. Затем я подкатил бочку и старательно облил керосином всю грудку.

Огонь! Он поднялся выше мачт, выше маяка, к самым звездам. Теперь только слепые и спящие не заметили бы сигнала.

Я схватил обрывок смоленной сети, зажег и, поддев на бамбуковый шест, стал размахивать в воздухе куском огня.

#### IV

Что было дальше, помню плохо. Море стало раскачиваться, точно собираясь опрокинуться на остров. Маяк накренился. В воздухе поплыла какая-то чертовщина из стеклянных палочек и запятых.

Кричали птицы. Море клубилось теплым паром, я лез по винтовой лестнице в рассветное небо. Подо мной громоздились тучи, наверху, по чугунным исшарканным ступеням, бежали цепкие ноги смотрителя. Дядя Костя



поднимался все выше и выше над морем, стал виден весь океан с дорогами ветра, с зелеными островами и кораблями, плывущими в разные стороны.

Потом лестница завертелась в башенке, как винт в мясорубке. Ветер сорвал с меня бескозырку. Обеими руками я схватился за перила и закружился в трубе.

Сколько времени длилось это, не знаю. Разбудил меня колокол. А когда я открыл глаза, то долго не мог понять, почему у меня такие длинные ноги.

Внизу смутно блестела накрытая туманом вода. Временами клочья редели, тогда у моих ног открывалась полоска пены и черные камни. Постепенно я понял, что лежу ничком на фонарной площадке, просунув сквозь прутья решетки руки и голову. Как это случилось, не знаю до сих пор. Вероятно, под утро я полез на площадку и здесь свалился.

Теперь ветер отжимал туман к берегу. Ветряк кружился, старый колокол спрашивал басом туман:

«Был ли бой? Был ли бой?»

Потом, замедлив удары, точно прислушиваясь к шуму моря, он отвечал важно и грустно:

«Дно-о... Дно-о... Дно-о...»

Кажется, у меня начиналась горячка.

Помню, я спустился вниз, в сторожку, и стал наваливать на Сачкова одеяла, брезенты, полушубки, плащи — все, что мог найти на вешалке и в кладовой. После этого я надел почему-то резиновые сапоги и, стуча зубами, залег под тряпье. Я обнял Сачкова, соленого, мокрого, и вместе с ним поплыл навстречу «Чапаеву».

Остальное — сплошной винегрет. Стук катера, плеск воды возле уха, горячий дождь, ободок кружки в зубах. Чьи-то прохладные руки на голой спине и нудный запах аптеки. Я забыл имена, лица, время — все, кроме зажатой в кулаке пуговицы от бушлата смотрителя. Почему-то мне казалось, что потерять пуговицу — потерять все.

Кто-то пытался уговорить, разжать кулак силой. Я жестоко боролся, ломал пальцы, кажется, даже укусил противника за руку. И победил. Пуговица осталась со мной. Я спрятал ее под матрац и доставал только ночью, оставшись один. Колокол, славный сторож, мой друг, гудел непрерывно, напоминая об опасности, не давая мне спать.

...А когда он умолк, я открыл глаза и увидел возле себя Колоскова. Он сидел на табурете, свежий, холодный, и старался завязать зубами тесемки. Из рукавов больничного халатика на целую четверть вылезали здоровенные красные ручищи.

И Сачков был тут же, серьезный, грустный, надевший впопыхах халат разрезом вперед. Он разглядывал меня с почтительным страхом, как сирота покойного дядю, и при этом громко сопел...

Я хотел спросить, что случилось, но Колосков зашипел и поднял ладонь.

— Все в порядке, — сказал он шепотом, — мы с доктором только что вас осмотрели.

— Ерунда, — подтвердил Сачков, — мне сдается, ты здоровее, чем был.

— Я хочу знать...

— ...что нового? — подхватил Колосков. — Понятно. Из Владивостока привезли апельсины, кожура толстовата, однако справляемся. Погода тоже ничего, баллов на шесть. Что еще? Боцман лечит зубы... Во втором экипаже дамы повесили зеленые шторы... Ничего, подходяще...

— А маяк?

— Завтра сборная отряда против сборной порта, — сказал торопливо Сачков.

— Где «Чапаев»? Я видел огни.

— Все в порядке... Левый край пришлось заменить.

— Перестань... Я спрашиваю: что на маяке?

Сачков замолчал, а лейтенант сильно заинтересовался мундштуком трубки. Он долго ковырял его спичкой и разглядывал на свет, потом медленно ответил:

— Занятный сон... Вы простудились на охоте... Помните, перешли вброд реку? Вы и того... А вообще... спать надо, Олещук... Спать.

— Когда это было?

— Охота? Месяц назад.

Я молча полез под подушку и достал пуговицу, старую орленую пуговицу дяди Кости, обтянутую черным сукном.

Колосков посмотрел на нее и отвернулся. Море за окном было злое и синее. На дубках лежал снег.

— Вам это приснилось, — сказал он упрямо.

# Главное—выдержка

## I

Жизнь на берегу проще, чем в море. В ней меньше тумана, не так рискуешь сесть на мель, а главное, нет многих досадных условностей, что расставлены на пути корабля, словно вешки.

Во всяком случае, в море не так уж просторно, как можно подумать, глядя с берега на пароходный дымок.

И вот пример.

В пределах трех миль здесь все называется настоящими именами — гор есть вор, закон есть закон и пуля есть пуля. Возле берега командуем мы: «Стоп машина! Примите конец!» Но стоит только хищнику покинуть запретную зону, как вор превращается в господина промышленника, а украденная камбала — в священную собственность.

...Короче говоря, «Осака-Мару» стоял ровно в четырех милях от берега. Только издали мы могли любоваться черными мачтами и голубой маркой фирмы на трубе парохода. То была солидная посудина — тысяча на восемь тонн, с просторными площадками для разделки сырца, глубокими трюмами и огромным количеством лебедек и стрел, склоненных наготове над бортами, — целый крабовый завод, дымный и шумный, на котором жило не меньше пятисот ловцов и рабочих.

Возле «Осака-Мару», едва доставая трубой ходовой мостик, стоял пароход-снабженец. Он только что передал уголь и теперь принимал с краболова консервы.

Увидев пароходы, Колосков обрадовался им, как старым знакомым.

— Как раз к обеду, — сказал он, подмигивая, — крабы ваши, компот наш!

Да мы и в самом деле были знакомы. Каждую весну, между 15—20 апреля, краболов появлялся в Охотском море и бросал якорь на почтительном расстоянии от берега. Он обворовывал западное побережье Камчатки неумоимо, старательно, деловито, из года в год пользуясь одним и тем же методом.

Вечером, видя, что в море нет пограничного катера, «Осака-Мару» спускал с обоих бортов целую флотилию

кавасаки и лодок. Около сотни вооруженных снастью суденышек, мелких и юрких, точно москиты, шли к берегу наперерез косякам крабов и сыпали сети с большими стеклянными наплавами. А на рассвете флотилия снимала улов — тысячи крабов, застрявших колючими панцирями и клешнями в ячеях. То было воровство по конвейерной ленте — прямо от подводных камней к чанам с кипятком. И в то время, как вся эта хищная мелочь копошилась у берега, их огромный хозяин спокойно дымил вдалеке.

Понятно, что в бочке над краболовом торчал наблюдатель.

Едва «Смелый» показал кончики мачт, как «Осака-Мару» тревожно взревел. И сразу, как стрелки в компасах, лодки повернули в открытое море носами.

Это было занятное зрелище: всюду белые гребни, перестуки моторов, командные выкрики шкиперов, подгонявших ловцов. Крабы легели за борт, моторы плевались дымками: «Дело таб-бак. Дело таб-бак!» А тот, кто не успел вытащить сеть, рубил снасть ножом, не забывая отметить доской или цинковкой место, где утоплена сеть.

Кавасаки шли наперегонки, ломаной линией, сжимавшейся по мере приближения к кораблю; за ними тащились на буксире плоскодонные опустевшие сампасены, а дальше, замыкая москитный отряд, рывками мчались гребные исабунэ с полуголыми, азартно вопящими рыбаками.

Мы нацелились на две кавасаки. Одна из них отрубила буксир и успела уйти за три мили от берега, а другая стала нашей добычей.

Шкипер ее, позеленевший от досады и злости, оказался малосговорчивым. Видя, что соседняя кавасаки показала корму, он кинулся с железным румпелем навстречу десанту и наверняка отправил бы кого-нибудь вслед за крабами, если бы наш спокойный боцман не положил руку на кобуру.

После этого все пошло как обычно. Шкипер опустил румпель, а команда стала кланяться и шипеть. Мы обыскали кавасаки и в носовом трюме нашли мокрую сеть, в которой копошилось десятка два крабов. Этого было вполне достаточно, чтобы привлечь к суду плавающий завод. «Смелый» сразу повернул к «Осака-Мару».

Между тем москиты успели выйти из погранполосы. Вдоль берега над водой висел только керосиновый дым — единственный след краболовной флотилии, а вдали, окруженная лодками, точно квочка цыплятами, высилась железная громада завода.

Мы подошли к «Осака-Мару» и подняли по международному коду сигнал: «Спустить трап». Никто не ответил, хотя на палубе было много ловцов и матросов. Не меньше полутораста здоровенных парней, еще разгоряченных гонкой, с любопытством поглядывали на катер.

Над ними, на краю ходового мостика, стоял капитан краболова — важный, сухонький старичок с оттопыренными ушами и приплюснутым носом. Он не считал нужным хотя бы надеть китель и, придерживая на груди цветистый халат, демонстративно позевывал в кулачок.

— What do you want?<sup>1</sup> — спросил он, свесившись вниз.

— Спустите трап. Мы задержали вашу моторку.

— I can not understand you!<sup>2</sup>

Это был обычный трюк. Если бы мы заговорили по-английски, он ответил бы по-японски, мексикански, малайски — как угодно, лишь бы поиграть в прятки.

Из всей команды «Смелого» один Сачков знал десяток английских фраз. Лейтенант вызвал его из машины и предложил передать капитану, чтобы тот спустил трап и не валял дурака.

Славный малый! Он мог выжать из шестидесяти лошадиных сил девяносто, но построить английскую фразу... Это было выше сил нашего моториста.

Он застегнул бушлат, взял мегафон<sup>3</sup> и закричал, напирая больше на голосовые связки, чем на грамматику:

— Allo! Эй, аната! Give me trap! Allo! Do you speak? Я же и говорю, трап спустите... Понятно? Ну вот это... the trap! Вот черт! Алло!

Он кричал все громче и громче, а капитан, вначале слушавший довольно внимательно, стал откровенно позевывать и, наконец, отвернулся.

---

<sup>1</sup> Вам что угодно?

<sup>2</sup> Я не понимаю вас!

<sup>3</sup> М е г а ф о н — рупор.

— Вот дубина! — определил Сачков, рассердясь. — Прикажите снять с пулемета чехол... Сразу поймет.

— Это не резон, — сказал Колосков. — Если снимешь, надо стрелять.

— Разрешите тогда продолжать?

— Только не так.

На «Смелом» подняли два сигнала. Сначала: «Спустить трап. Ваши лодки нарушили границу СССР», а затем и второй: «Отвечайте. Вынужден решительно действовать». Только тогда капитан подозвал толстяка в фетровой шляпе (как оказалось, переводчика) и заговорил, тыкая рукой то на палубу, то на берег.

— Господин капитан возражайт! — объявил толстяк. — Господин капитан находится достаточно далеко от берега.

— Ваши кавасаки проникли в запретную зону.

— Господину капитану это неизвестно.

— Вы произвели незаконный улов.

— Извините. Господин капитан не понимает вопроса.

— Захочет — поймет, — спокойно сказал Колосков. — Передайте ему так: кавасаки арестована. Подпишите акт осмотра.

Капитан улыбнулся и покачал головой, а толстяк, не ожидая ответа, закричал в мегафон:

— Господин капитан отрицает. Господин капитан не знает этого судна.

На палубе грянул смех. Ловцы, восхищенные находчивостью капитана, барабанили по железу деревянными гета и орали во всю глотку, выкрикивая по именам приятелей с кавасаки.

— Как это не ваша? — возмутился Сачков. — Товарищ лейтенант, разрешите, я клеймо покажу?

Он стал подтягивать кавасаки, чтобы показать надпись на круге, но Колосков тихо сказал:

— Отставить. Все равно, зона не наша. Малый вперед!

Мы молча отошли от высокого борта, а свежак, сильно накренивший японские пароходы, понес нам вдогонку крики и хохот. На носу «Осака-Мару» загромыхала лебедка: травили цепь, чтобы якорь плотней лег на дно.

Колосков смотрел мимо краболова на берег. Дымка, почти всегда скрывавшая глубоинные хребты, ис-

чезла. Открылись дальние иссиня-белые конусы сопок — верный признак близкого шторма.

— Эк, метет! — сказал Колосков, думая о чем-то другом. — А ведь, пожалуй, раздует. Баллов на восемь... А?

— Проскочим, — ответил боцман спокойно.

— А если на якорь?

— Однако выкинет... Грунт очень подлый.

— Именно... В ноль минут. Приготовьте десантные группы.

Гуторов все еще не мог понять, куда гнет командир.

— Одну?

— Нет, три. Все свободные от вахты могут отдыхать. Домино отберите, пусть спят.

И Колосков, утопив щеки в сыром воротнике, снова нахохлился, не замечая, что даже мартыны, тревожно курлыча, потянулись в дальние бухты, прочь от угрюмого моря.

## II

В шесть часов вечера на кавасаки сорвало крышку машинного люка. Мотор захлебнулся, мотопомпа заглохла, и «Смелый» взял арестованных на буксир.

Маленькая низкобортная посудина поплелась за нами, дергая трос, точно норовистая лошадь узду, — трое японцев едва успевали откачивать воду ковшами и донкой.

Буксировка сразу сбила нам ход. Легче проплыть сто метров в сапогах и бушлате, чем тащить кавасаки в штормовую погоду. Мы ползли, как волю, как баржа, как время в больнице, а ветер тормозил Охотское море и рвал парусину на шлюпках.

Было уже довольно темно, когда мы сдали кавасаки на морской пост возле реки Оловянной. Люди устали и озябли. Плащи, камковые бушлаты, даже тельняшки были мокры. За ужином один только Широких, вздыхая от сочувствия к ослабевшим, попросил добавочную банку консервов. Остальные по очереди отказались от холодной свинины с бобами.

— Баллов восемь верных, — грустно определил кок, убирая тарелки.

...Море пустело на наших глазах. Пароходы, прини-

мавшие первую весеннюю сельдь, бросили погрузку и уходили штормовать. Лодки наперегонки мчались к заводам. Всюду на мачтах чернели шары — знаки шторма, и отчаянные камчатские курибаны, стоя по горло в воде, удерживали на растяжках кунгасы.

Нам предстояло провести всю ночь в море, так как западный берег Камчатки отличается отсутствием бухт и удобных заливов. На сотни километров размахнулся здесь низкий тундровый берег с галечной кромкой, усеянный остатками шхун и позвонками китов.

Однако Колосков решил иначе. Потушив ходовые огни, мы снова повернули на юг и вскоре увидели огни пароходов. «Осака-Мару» третью корпуса заслонял снабженца, поэтому казалось, что у берега стоит пароход необычайной длины. Все огни на «Осака-Мару» были погашены, только на мачте, освещая то барабаны лебедек, то фигурки матросов, раскачивалась лампа в железном наморднике. «Осака-Мару» поднимал на борт последние кунгасы своей огромной флотилии.

Темнота скрадывает расстояние, — вероятно, поэтому мне показалось, что пароходы подошли к берегу значительно ближе, чем прежде.

Я поделился своими соображениями с Колосковым.

— Так оно и есть, — сказал он одобрительно, — хомут спасли, а кобыла сгорела...

И тут же пояснил:

— ...на ходу флотилию на борт не взять... Вот и решили сползти ближе к берегу. Благо, грунт крепче, да и мыс прикрывает.

— Значит?

— Только не спешите, — сказал Колосков, — определимся сначала...

На малых оборотах мы подошли еще ближе к заводу, и, пока радист определялся по береговым ориентирам, лейтенант объяснил десанту задачу. На катере остается только бессменная вахта. Остальным предстояло подняться на пароход, отобрать управление и, обеспечив командные точки, ждать дальнейших распоряжений со «Смелого» — ночью фонарем, днем флажками.

Предстояло захватить целый завод — человек пятьсот ловцов и матросов, возбужденных арестом кавасаки и, несомненно, чувствующих себя в безопасности на палубе корабля. Попытки арестовать краболовы были и

прежде, но каждый раз они заканчивались односторонними актами, судом над каким-нибудь шкипером и долгой дипломатической перепиской. Это была нелегкая операция даже днем, а темнота сильно затрудняла задачу.

Мы решили подойти сначала к краболову и высадить десант с подветренного борта, пользуясь штормтрапами, по которым поднимались ловцы.

— Зря за оружие не хватаетесь, — сказал Колосков. — Стойте лицом. Помните, что японцы всегда на спину бросаются. А главное — выдержка. Пуля не гвоздь — клещами не вытащишь.

### III

Колосков был прав: ветер оказался нашим союзником. Краболов мог выйти в море, только подняв на борт флотилию, а сделать это при сильной волне и шквалистом зюйде было трудно даже для опытных моряков. Лодки жались к наветренному борту, тросы трещали и рвались, а те, кому удалось оторваться от воды раньше других, раскачивались в воздухе, вырывая из рук матросов оттяжки. На наших глазах погибли два больших пятитонных кунгаса. Один затонул, ударившись о борт «Осака-Мару», другой, поднятый до уровня палубы, сорвался с гака и рухнул в воду с десятиметровой высоты.

Мы подошли к «Осака-Мару» с наветренного, ничем не освещенного борта. Шквал накренил пароход с такой силой, что наружу вышла крашенная суриком подводная часть. Оголенный винт медленно хлестал по воде, — видимо, капитан, не надеясь на якоря, удерживал «Осака-Мару» машиной.

Когда мы подошли к краболову, погрузка ловцов была уже закончена и штормтрапы подняты на борт.

Лейтенант приказал подняться по выброске. Нас то подбрасывало так, что открывалась вся палуба краболова, то уносило далеко вниз, к подножию борта, глухого и высокого, точно крепостная стена.

Все кранцы были вывешены вдоль причального бруса, шесть краснофлотцев веслами и футштоками отталкивали «Смелый» от краболова. И все-таки временами

наш катер вздрагивал и трещал так, что поеживался даже Широких.

Наконец боцману удалось закинуть на тумбу петлю.

Прыжок вверх. Удар плечом о борт. Море, взлетевшее за нами вдогонку, — и мы вдвоем с Гуторовым уже вытаскивали на палубу «Осака-Мару» старательно пыхтящего мокрого Косицына... Зимин и Широких поднялись последними. «Смелый» — ореховая скорлупа рядом с «Осака-Мару» — прыгал далеко вниз.

— Следить за семафором! — крикнул Колосков. — Якоря не снима-а...

Больше мы ничего не слышали. Катер отлетел куда-то в сторону.. Рявкнула и обдала пылью волна. Мы кинулись наверх, на ходовой мостик, чтобы захватить радиорубку и управление кораблем.

Все это произошло настолько быстро, что некогда было даже перевести дыхание. Когда капитан поднялся на мостик, все было кончено: Широких скручивал проволокой петли на дверях радиорубки, а переговорная труба доносила голос Косицына, наводившего порядок в машине. Он сообщал, что главный механик от не привычки немного психует, а все остальное в порядке. Пару хватает, кочегары на месте.

Капитан бегал рысцой от борта к борту, ожидая конца разговора. Я с трудом узнал старичка — он был затянут в черный китель с поперечными эполетами, а два ремня вперехлест и сбившаяся набок большая фуражка придавали ему несуразно воинственный вид.

— А вам что здесь нужно? — спросил боцман и закрыл трубу пробкой.

Капитан был испуган и взбешен. Он открыл штурманский столик и, ворча, стал тыкать в карту длинным ногтем. Выходило, что «Осака-Мару» стоит чуть ли не в десяти милях от берега.

— Господин капитан считает поведение пограничной стражи ошибочным, — пояснил переводчик.

— Дальше, дальше, — сказал Гуторов скучным голосом, — это нам известно.

— Господин капитан предупреждает о тяжелых последствиях.

— Благодарю... Это каких же?

— Господин капитан приказывает оставить корабль...

— Ну так вот что, — сказал Гуторов, рассердясь, — приказываю тут я. Юкинайте в кубрик... Айда назад... Подпишем без вас.

Краболов спал, когда мы спустились на заводскую площадку. Низкий железный зал без иллюминаторов, с чугунными столбиками посередине, казался бескрайним. Резиновые ленты, уставленные консервными банками, тянулись от чанов к закаточным станкам-автоматам. В глубине зала высились черные, еще горячие автоклавы, похожие на походные кухни.

Всюду виднелись следы только что обработанного улова: в стоках, вдоль бортов, краснела крабовая скорлупа, из темноты тянуло острым, чуть терпким запахом сырца, а на шестах в сушилке висели серые халаты.

Вслед за нами, бормоча что-то непонятное, шел переводчик. Но мы не нуждались в объяснениях — тысячи полуфунтовых банок, готовых к отправке, лежали на складе.

Широких взял одну из них и стал разглядывать этикетку. Огненный краб карабкался на снежную сопку, держа в клешне медаль с названием фирмы. Ниже было написано: «Made in Japan». Видя, что Широких с трудом разбирает незнакомую надпись, переводчик помог:

— Это... сделано в Японии...

— Украдено в СССР, — поправил Гуторов сухо.

— Извинице... не понимаю... Чито?

— А это вам судья разъяснит...

Мутное, теплое зловоние просачивалось в цехи из трюмов корабля. И чем дальше отходили мы от железной, чисто вымытой коробки завода, тем навязчивей становился густой смрад.

Два крытых перехода, устланных деревянными решетками, соединяли завод с кормовыми трюмами. Конец правого коридора замыкала подвешенная на рельс железная дверь. Гуторов отодвинул ее в сторону, и мутная, застарелая вонь хлынула нам навстречу.

Мы стояли на краю кормового трюма, превращенного в общежитие «рыбаков». Четыре яруса опоясывали глубокий колодец, на дне которого смутно проступали бочки и ящики.

Люди спали вповалку на нарах, прикрытые пестрым

тряпьем. Всюду виднелись разинутые рты, усталые руки, голые торсы, блестящие от испарины. Сон был крепок. Даже рев вентиляторов, даже тяжкие удары воды, от которых гудела громада завода, не могли разбудить «рыбаков». Очевидно, хозяева сэкономили свет — два карбидовых фонаря мерцали далеко, на дне корабля. А все этажи, наполненные храпом, бормотаньем, влажным теплом сотен людей, и бочки в глубине трюма, и тусклые огни, и тряпье на шестах раскачивались мерно и сильно, точно железная люлька, которую с присвистом и хохотом качает штормяга.

Мы вернулись на мостик и стали ждать семафора со «Смелого». Между тем ветер повернул «Осака-Мару» кормой к берегу. Море с шумом мчалось мимо нас, гребни с разбегу взлетали на палубу, и брызги, твердые, как пригоршни камней, стучали по брезентовому козырьку перед компасом.

Справа, в пяти кабельтовых от краболова, чернел низкий корпус снабженца, слева, вдоль берега, далеко на север уходили огни рыбалок и консервных заводов. На шестах у приемных площадок тревожно светились красные фонари — берег отказывался принимать катера и кунгасы. Ходовых огней «Смелого» мы никак не могли различить — очевидно, катер укрылся от ветра за бортом парохода.

— Интересно, во сколько тут побудка? — спросил Гуторов.

— Вероятно, в шесть, — сказал я, — а какая нам разница?

— Вопить будут... А может, и хуже, если спирта дадут. Народ дикий, шальной...

— А если не выпускать?

— Нельзя... Гальян на корме.

Я разделял опасения боцмана. Одно дело, когда на крючок попадает плотва, и другое — когда удилище гнется и трещит под тяжестью пудового сома. Никогда еще «Смелый» не задерживал краболовов. Целый поселок — полтысячи голодных, озлобленных качкой и нудной работой парней — дремал в глубине «Осака-Мару», готовый высыпать на палубу по первому гудку парохода.

Один Широких не выказывал признаков беспокойства. Он стоял за штурвалом и медленно жевал хлеб-

ную корку. Вероятно, он нисколько не удивился бы, попав в боевую рубку японского крейсера.

— Как-нибудь сговоримся, — сказал он спокойно.

#### IV

На рассвете подошел «Смелый». Нырять в воде, словно чирок, он приблизился к нам на полкабельтовых и подал флажками приказ: «Снимитесь с якоря. Следуйте мной. Случае тумана держитесь зюйд 170°. Траверзе мыса Сорочьего встретите «Соболя». Будьте осторожны командой».

Боцман «Осака-Мару» нехотя вызвал матросов. Пятро парней в белых перчатках шевелились так, точно в жилах у них вместо крови текла простокваша. Боцман зевал, матросы почесывались. Через каждые пять минут цепь останавливалась, и лебедчик, чмокая языком, ощупывал поршень. Глядя на эту канитель, Гуторов возмущенно сопел. Наконец якорь был выбран, и боцман скомандовал: «Малый вперед!»

...Через два часа мы подошли к мысу Сорочьему. Шторм стих так же внезапно, как начался. Сразу погасли гребни. Свист, улюлюканье, хохот ветра, стоны дерева, треск тугой парусины, хлеставшей железо наотмашь, стали смолкать, и вскоре дикий джаз заиграл под сурдинку. Славный знак: березы на сопках расправили ветви, голодные топорки и мартыны смело летели из бухт в открытое море.

Возле мыса Сорочьего к нашему каравану примкнул катер «Соболь». Это дало нам возможность усилить десант. Трое краснофлотцев были переброшены на снабженец, пять — на «Осака-Мару». Кроме того, Колосков высадил на краболов нашего кока, исполнявшего во время операций обязанности корабельного санитаря. По правде сказать, мы не ждали пользы от Кости Скворцова. То был маленький, безобидный человечек, разговорчивый, как будильник без стопора. С одинаковой страстью, схватив собеседника за рукав, рассуждал он о звездах, о насморке, о политике Чемберлена или собачьих глистах. Нашпигованный разными историями до самого горла, кок болтал даже во сне.

— Вот это посудина! — закричал он, вскарабкавшись на борт «Осака-Мару». — А где капитан? Молчит?

Ну, понятно... Знает кошка... Лейтенант здорово беспокоился, как бы чего не вышло с ловцами... Сколько их? Тысяча? А? Я полагаю, не меньше... Косицын в машине? Травит, конечно! Бедный парень... Я думаю, из него никогда не выйдет моряка...

Увидев в руках кока тяжелую сумку, Широких сразу оживился.

— Значит, кое-что захватил?

— Для тебя? Ну, еще бы, — ответил с гордостью Костя.

Он открыл сумку и показал нам пачку бинтов, бутыл с йодом и толстый резиновый жгут.

— Ешь сам! — сказал Широких, обидясь.

К счастью, у Скворцова отлично работали не только язык, но и руки. Быстро отыскав камбуз, он потеснил японского кока и принялся колдовать над плитой.

## V

Наш караван растянулся миль на пять. Впереди, отряхиваясь от воды точно утка, шел «Смелый», а за ним ползли черные утюги пароходов, и в конце кильватерной колонны, чуть мористее нас, светился бурун катера «Соболь».

Туман, провожавший нас от Оловянной, перешел в дождь. Радужная мельчайшая изморось оседала на палубу, на чехлы шлюпок, на брезентовые, сразу задебевшие плащи. Слева по борту тянулся ровный западный берег Камчатки с тонкими черными трубами заводов и крытыми толем навесами. Справа лениво катились к горизонту рябые от дождя складки воды.

Мы двигались вдоль самого оживленного участка Камчатки. Шторм стих, и тысячи лодок спешили в море, к неводам, полным сельди. Некоторые проходили так близко, что видно было простым глазом, как ловцы машут руками, приветствуя нас.

На одной из кавасаки рулевой, служивший, видимо, прежде во флоте, бросил румпель и передал нам ручным телеграфом: «Поздравляем богатым уловом».

В самом деле улов был богат. Первый раз мы вели в отряд не воришку кавасаки, не рыбацкую шхуну, а целый заводиче, на палубе которого разместится сто таких катеров, как «Смелый» и «Соболь».

Мокрая палуба «Осака-Мару» по-прежнему была пуста. Видимо, японцы свыклись с мыслью об аресте и решили не обострять отношений; только матрос и второй помощник капитана — оба в желтых зюйдвестках и резиновых сапогах — прохаживались вдоль правого борта, поглядывая то на катер, то на белый конус острова Шимушу, едва различимый в завесе дождя. Чего они ждали? Встречного японского парохода, кавасаки, полицейской шхуны, которая постоянно бродит вблизи берегов Камчатки, или просто следили за нами? Время от времени матрос подходил к рынде, укрепленной на фокмачте, и отбивал склянки.

За всю вахту офицер и матрос не обменялись ни одним словом. Оба они держались так, как будто на корабле ничего не случилось. Офицер позевывал, матрос стряхивал воду с брезентов и поправлял на лодках чехлы.

Равнодушие японцев, шум винта, ровный, сильный звук колокола — все напоминало о спокойной, размеренной жизни большого корабля, которую ничто не может нарушить. Но каждый раз, точно отвечая «Осака-Мару», к нам долетал ясный, стеклянно-чистый звук рынды нашего катера.

Было шесть утра, когда мы наконец подошли к мысу Лопатка и стали огибать низкую каменистую косу, отделяющую Охотское море от Тихого океана.

Сквозь шум моря и дождя доносилось нудное завывание сирены. Берег был виден плохо, и я, чтобы не наломать дров, стал отводить «Осака-Мару» в сторону от камней.

В этот момент Широких толкнул меня под локоть.

Справа по носу наперерез нам шли два японских эсминца. Они выскочили из-за острова Шимушу, где, очевидно, караулили нас после депеши краболова, и теперь неслись полным ходом, точно борзые по вспаханному полю.

Одновременно с появлением военных кораблей на палубу «Осака-Мару» стали высыпать «рыбаки». Никогда я не думал, что краболов может вместить столько народу. Они лезли из трюмов, бортовых надстроек, спардека, изо всех щелей и вскоре заполнили всю палубу, от кают-компаний до носового шпиля. Передние махали эсминцу платками, задние становились на цыпочки, влезали на лебедки, винты, на плечи соседей.

И все вместе орали что было мочи... Палуба походила бы на базар, если бы не обилие коротких матросских ножей и угрожающие лица ловцов. Все они, задрав головы, с любопытством поглядывали на нас.

Я взглянул на свой катер. Скорлупа, совсем скорлупа, а пушчонка — игла. Но сколько достоинства! Он шел, не прибавляя и не убавляя хода, и как будто во все не замечал сигналов, которые ему подавал головной миноносец (что делалось на «Соболе», я не видел, так как его закрыл правый борт мостика).

Гуторов, обходивший посты, быстро поднялся наверх и теперь старался разобрать сигналы с эсминца.

«Стоп машину... Лягте... Лягте... немедленно дрейф!»

— Вот пижоны! — сказал с возмущением Костя. — Смотрите! Да что они, спятили?

На обоих эсминцах с носовых орудий снимали чехлы.

Узкие, с косо срезанными мощными трубами, острыми форштевнями, с бурунами, поднятыми выше кормы, хищники выглядели весьма убедительно. Ловко обойдя наш небольшой караван, они сбавили ход и пошли рядом, продолжая угрожающий разговор:

«Почему захватили пароходы? Считаете своим призом?»

Я взглянул на «Смелый». Молчание. Палуба пуста. На пушке чехол. Колосков расхаживал по мостику, заложив руки за спину.

— Почему мы не отвечаем? — спросил Костя волнуясь. — Смотрите, орудийный расчет на местах...

— Правильно не отвечаем, — сказал боцман.

— Почему же? Ведь у нас даже не сыграли тревоги.

— Правильно не сыграли, — повторил боцман.

Эсmineц подошел к «Смелому» на полкабельтовых. Были отлично видны лица матросов, стоявших у пушек и торпедных аппаратов.

— Это же очень серьезно, — сказал Костя волнуясь. — Что они делают? Это пахнет Сараевом (весною он прочел мемуары Пуанкаре и теперь напоминал об этом на каждом шагу).

— То Сараево, а то Камчатка, — резонно ответил Широких.

— Это выстрел Принципа. Конфликт! Боюсь, мы развяжем такое...

— А ты не бойся...

Не получив ответа, эсминец вышел вперед, на наш курс, и попытался подставить корму под удар «Смелого». Колосков, повернув влево, сбавил ход, эсминец оторвался, потом снова встал на дороге. «Смелый» повернул вправо.

Так, зигзагами, то делая резкие развороты, то почти застопоривая машины, они прошли девять миль. На нашем языке это называлось игрой в поддавки.

В это время второй миноносец шел рядом с «Осака-Мару», непрерывно подавая один и тот же сигнал: «Возвращать пароход», «Возвращать пароход».

Все население «Осака-Мару» толпилось на палубе. Матросы в ярко-желтых спецовках, подвижные, горластые кунгасники, ловцы в вельветовых куртках и резиновых сапогах, мотористы флотилии, лебедчики, рулевые, щеголеватые кочегары, резчики крабов с руками, изъеденными кислотой, — все они, одуревшие в душном трюме, азартно обсуждали шансы катеров и эсминцев.

Игра в поддавки не дала результата. Тогда, сбавив ход, эсминцы подошли к «Смелому» с обоих бортов и так близко, как будто собирались плюсовать маленький катер.

«Соболь» все время замыкал караван. Увидя новый маневр японцев, он тотчас вышел вперед и сыграл боевую тревогу.

На правом эсминце подняли сигнал: «Предлагаю командирам катеров явиться для переговоров». «Смелый» ответил: «Разговаривать не уполномочены».

Минут десять все четверо шли кучно, образовав что-то вроде креста с отпиленной вершиной, за которым зигзагами тянулась пенистая дорога. Затем эсминцев точно пришпорили. Они рванулись вперед и, сильно дымя, пошли к северу.

Костя, заметно пригнхший во время эволюций эсминцев, снова оживился.

— Ага! Ваша не пляшет! — закричал он торжествуя. — А что я говорил? Главное — выдержка! Уходят... Чес... слово, уходят!

— Не думаю, — сказал боцман серьезно.

Толпа стала нехотя расходиться.

Набежал туман и закрыл буруны миноносцев. Вскоре исчез и «Смелый». Нос краболова с массивными ле-

бедками и бортовыми надстройками лежал перед нами неподвижный и черный, точно гора.

Сбавив ход, мы стали давать сигналы сиреной. Судя по звуку, берег был не дальше двух миль — эхо возвращалось обратно на девятой секунде.

...Обедали плохо. Консервы, которые Скворцов разогрел в камбузе, издавали резкое зловоние. В одной из банок Широких нашел кусок тряпки и стекло, я вытащил обмылок.

— Вы отходили от плиты? — спросил Гуторов.

— Нет... то есть я только воды накачал.

— Тогда ясно... Выкиньте за борт.

Днем мы ели шоколад и галеты, вечером галеты и шоколад. Никто не чувствовал голода, но всем сильно хотелось спать: сказывались качка и тридцать часов вахты.

Караван продолжал подвигаться на север. Через каждый час «Смелый» возвращался назад и заботливо обходил пароходы. Я все время видел на мостике клеенчатый капюшон и массивные плечи Колоскова. Когда он отдыхал — неизвестно, но сиплый басок его звучал по-прежнему ровно. Лейтенант все время интересовался работой машины и предлагал почаще вытаскивать Косицына на свежий воздух.

## VI

Эсминцы ждали нас возле острова Уташут. Заметив караван, они разом включили прожекторы. Два голубых длинных шлагбаума легли на воду поперек нашего курса. Миновать их было нельзя. Один из прожекторов встретил «Смелого» и тихонько пошел вместе с катером к северу, другой стал пересчитывать суда каравана. Добежав до «Соболя», он вернулся обратно и ударил в лоб «Осака-Мару».

Свет был так резок, что я схватился рукой за глаза. Вести корабль, ориентируясь на головной катер, стало почти невозможно. Я не видел ни берега, ни сигнальных огней. Все по сторонам дымного голубого столба почернело, обуглилось. Передо мной на уровне глаз, вызывая резкое раздражение, почти боль, висел зеркальный, нестерпимо сверкающий диск.

Весь корабль был погружен в темноту. Один только мостик, накаленно-белый, высокий, выступал из мрака. Это сразу поставило десантную группу в тяжелое положение. Каждое наше движение, каждый шаг были на виду миноносцев и населения «Осака-Мару».

Японцы это отлично учитывали. В течение получаса они разглядывали нас в упор, изредка отводя луч на корму или на нос. От сильного света у меня стали слезиться глаза. Тогда Гуторов приказал бросить управление и перейти на корму к запасному штурвалу. На мое место, чтобы не вызвать подозрения, стал Широких. Минут десять мы радовались, что перехитрили эсминец, но луч быстро перебежал на корму и нащупал меня за штурвалом. Я был вынужден снова вернуться на мостик под конвоем луча.

Так возникла у нас маленькая маневренная война с перебежками, маскировками, взаимными хитростями и уловками, война, в которой огненную завесу заменял свет прожектора.

Прячась за шлюпками, скрываясь между вентиляционными трубами и надстройками, я перебегал от штурвала к штурвалу, и вслед за мной огромными прыжками мчался голубой мутный луч.

Вскоре мне стало казаться, что с эсминца видны мои позвонки под бушлатом. Свет бил навывлет. Он заглядывал в глаза сквозь сомкнутые веки, искал, преследовал, жег. В течение нескольких часов десантную группу не покидало мерзкое ощущение дула, направленного прямо в лоб.

Силясь рассмотреть картушку компаса, я невольно думал, как славно было бы дать пулеметную очередь... одну... коротенькую... прямо по зеркалам, в наглый, пристальный глаз.

В два часа ночи прожектор погас, и мы услышали стук моторки. Два офицера с эсминца пытались подняться по штурмтрапу, который им выбросил кто-то из команды. Их отогнали от левого борта, но они тотчас перешли на правый и стали кричать, вызывая капитана «Осака-Мару».

Мы не могли сразу помешать разговору, так как капитан отвечал офицерам через иллюминатор своей каюты. «Гости» на чем-то настаивали, старичок говорил односложно:

— А со-дес... со-со... А со-дес... со-со...

Катер отошел только после тоекратного предупреждения, подкрепленного кляцаньем затвора.

— Эй, росскэ! — закричали с кормы. — Эй, росскэ, худана! Иди, дурака, домой...

— Дикой, однако, народ, — сказал Широких с презрением, — ни тебе деликатности, ни понятия...

Наступила тишина. Караван двигался в темноте, казавшейся нам особенно густой после резкого света прожекторов.

Море слегка фосфоресцировало. Две бледно-зеленые складки расходились от форштевня «Осака-Мару» и гасли далеко за кормой. От мощных взмахов винта далеко вниз, в темную глубину, роями убегали быстрые искры. Млечный Путь рождался из моря, полного искр, движения, пены, слабых летучих огней, пробегающих в глубине.

Впечатление портили японские эсминцы. Потушив огни, хищники настойчиво шли вместе с нами на север. Впрочем, теперь они не пытались завести разговор с краболовом. Мы уже начали привыкать к бпасным соседям, как вдруг с головного эсминца взлетела ракета. Одновременно на краболове и снабженце потух свет.

— В чем дело? — крикнул вниз Гуторов.

Никто не ответил.

— В машине!

— Уо... а-га-а-а... — ответила трубка.

Что-то странное творилось внизу. Кто-то громко приказывал. Ему отвечали нестройно и возбужденно сразу несколько человек...

Пауза... Резкий оклик... Два сильных удара в гулкую бочку... Крик, протяжный, испуганный, почти стон... Грохот железных листов под ногами. И снова долгая пауза.

— В машине!

На этот раз трубка ответила голосом нашего моториста.

— Ушли, — объявил Косицын.

— Кто?

— Все ушли... сволочи...

Мы кинулись стремительно вниз, в самую темноту, по горячим трапам, освещенным сбоку «летучей мышью».

Внизу было тихо. Из темноты тянуло кислым порохом дымком.

— Я здесь, — объявил Косицын.

Сидя на корточках около трапа, он стягивал зубами узел на левой руке. Возле него на полу лежал наган.

— Ушли, — сказал он морщась, — через бункер ушли.

Дверь в кочегарку была открыта. Четыре топки, оставленные японскими кочегарами, еще гудели, бросая отблески на большие вертикальные шатуны, уходившие далеко в темноту.

Зимин, голый по пояс, бегал от одной топки к другой, подламывая ломом раскаленную корку.

На куче угля лежал мертвый японец в короткой синей куртке, с хозяйским клеймом на спине. Минут пять назад он спустился на веревке по вентиляционной трубе и напал на Косицына сбоку в то время, как тот пытался уговорить кочегаров.

Удар ломиком пришелся в левую руку: от кисти к локтю тянулась рваная, еще мокрая рана...

— Что я мог сделать? — спросил Косицын, точно оправдываясь.

— Правильно, правильно, — сказал боцман, хотя было видно, что и он смущен неожиданным оборотом.

Я закрыл мертвого брезентом, а Гуторов перевязал Косицыну руку.

— Один ушел... видно, раненый...

— Вот это ты зря, — сказал боцман.

Посоветовавшись, мы решили не убирать труп из кочегарки. Вынести мертвого наверх, на палубу, означало взорвать всю массу «рыбаков» и матросов, возбужденных водкой и грозным видом эсминцев.

После этого мы вызвали «Смелого», и лейтенант на ходу поднялся на борт «Осака-Мару».

Разговор продолжался не больше минуты, потому что эсминцы снова включили прожекторы, а на палубе стали появляться группы враждебно настроенных ловцов.

Лейтенант сказал, что наша тактика правильная, и предложил перебросить с палубы в кочегарку двух краснофлотцев. Сам он людей дать не мог, потому что «Смелый» был оголен до отказа.

— А собак не дразнить, — сказал он, уже висая на

штормтрапе. — Будут хамить, не замечайте: главное — выдержка.

Катер фыркнул и скрылся, а мы снова остались одни.

Палуба «Осака-Мару», пустынная еще минут десять назад, быстро заполнялась ловцами. Люди выбегали с такой стремительностью, точно по всему кораблю сыграли тревогу. Всюду мелькали карбидные фонарики и огоньки коротеньких трубок. Слышались возбужденные голоса, свистки, резкие выкрики.

Японские рыбаки — подвижной, легко возбудимый народ. Достаточно угрожающего движения, грубого окрика, даже просто неловкого, неуверенного движения, чтобы толпа, сознающая свою силу, перешла от криков к активному действию.

Вскоре появились пьяные. Вынужденный простой лишал «рыбаков» грошового заработка, толпа видела в нас источник всех бед, поэтому шум на палубе возрастал с каждой минутой. Многие бросали на нас угрожающие взгляды и даже откровенно показывали ножи.

Ловцы группировались кружками, в центре которых на лебедках, кнехтах или бухтах канатов стояли крикуны. Я заметил, что в середине самой шумной и озлобленной группы мечется окровавленный человек с повязкой на голове. Он вопил по-женски пронзительно и все время тыкал рукой в нашу сторону.

Пройти по палубе на нос или корму, где находились четверо краснофлотцев, уже было нельзя. Наши посты превратились в островки, отрезанные от срединной части корабля.

Стало светать. Кучки ловцов слились в одну глухо шумящую толпу; она беспокойно ворочалась, сжатая мостиком и высокой надстройкой на баке.

Ловцы, вылезающие из трюмов, напирали на стоящих впереди, некоторые вскакивали даже на плечи соседей, а все вместе, подогреваемые крикунами, вели себя все более и более угрожающе.

Кто-то застучал по палубе деревянными гета — толпа поддержала обструкцию грохотом, от которого загудела железная коробка парохода.

Смутное чувство большой, неотдалимой опасности охватило меня. Так бывает, когда вдруг темнеет вода

и зябкая дрожь — предвестница шквала — пробегает по морю.

Я взглянул на товарищей. Боцман упрямо разглядывал берег, мрачноватый Широких — компас, Костя — пряжку на поясе.

Все они делали вид, что не замечают толпы.

## VII

— Что же теперь будет? — спросил Костя тревожно. — Ведь это очень серьезно... Надо как-то их успокоить... сказать. Смотрите — ножи... Это бунт.

Был виден уже маяк Поворотный, когда головной эсминец поднял сигнал:

«Руки назад держать не могу. Принимаю решительные меры от имени императорского правительства».

Одновременно второй эсминец поставил дымовую завесу и дал выстрел из носового орудия. На обоих катерах сыграли боевую тревогу. «Смелый» ответил: «В переговоры не вступаю. Немедленно покиньте воды СССР».

С этими словами он развернулся и полным ходом пошел навстречу эсминцу. Не знаю, на что надеялся лейтенант, но чехол с единственной пушки был снят и орудийный расчет стоял на местах. Следом за «Смелым», осев на корму, летел «Соболь».

Больше я ничего разглядеть не успел. Едкое желтое облако закрыло катера и скалу с чугунной башенкой маяка.

— Надо действовать! Смотрите, они лезут на бак!

— Тише, тише, — сказал Гуторов.

Он глядел мимо заводской площадки на бак, где находились краснофлотцы Жуков и Чашин. Утром мы еще сообщались с носовым постом, пользуясь перекидным мостиком, укрепленным над палубой двумя штангами. Теперь мостик был сброшен возбужденной толпой. Человек полтора, подбадривая друг друга свистом и криками, напирала на высокую железную площадку, где стояли двое бойцов.

Им кричали:

— Худана! Росскэ собака!

— Эй, баршевика!.. Слезай!

Какой-то ловец в матросской тельняшке и ярко-жел-

тых штанах влез на ванты и громко выкрикивал односложное русское ругательство.

— Ссадил бы я этого попугая, — объявил Костя, — да жалко патрона...

— Тише, тише... — сказал боцман. — Эх, зря...

Случилось то, чего все мы одинаково опасались. Жуков не выдержал и ввернул крепкое слово с доплатой. Это было ошибкой! Несколько массивных стеклянных наплавов, на которых крабозаводы ставят сети, полетели в бойцов. Один шар разбился, попав в мачту, другой ударил Жукова в ногу. Не задумываясь, он схватил шар и кинул его в самую гущу ловцов. Толпа ответила ревом.

Я увидел, как стайка вертких сверкающих рыбок взметнулась над палубой. Жуков схватился за плечо, Чашин — за ногу. Короткие рыбацкие ножи со звоном скакали по палубе вокруг краснофлотцев.

По правде сказать, я уже давно не смотрел на компас. Жуков, сидя на корточках, расстегивал кобуру левой рукой. Чашин, задетый ножом слабее, стоял впереди товарища и целился в толпу, положив наган на сгиб руки.

Костя схватил боцмана за рукав.

— Что ж это, товарищ начальник?.. Скорее... надо стрелять!

Нас окатили горячие брызги... Раздался рев, низкий, могучий, от которого задрожали надстройки.

Гуторов не выпускал из рук оттяжку гудка. «Осака-Мару» ревел, давясь паром, и скалистый берег отвечал пароходу тревожными голосами.

Толпа замерла. Оторопелые «рыбаки» смотрели наверх, на облако пара, на коротенькую, решительную фигуру нашего боцмана, как будто кричащего басом на весь океан:

— Полу-ундра... Ух, вы!.. А ну, берегись!

Это было как раз то, что нужно. Выстрел только бы подхлестнул «рыбаков», а гудок, неистовый, не терпящий никаких возражений, хлынул сверху, затопил палубу, море, сразу сбив у нападавших азарт, и гудел в уши — угрюмо, тревожно, настойчиво: «Полу-унд-ра, полу-ундра, полу-ундра».

Когда пар иссяк, на палубе стало совсем тихо. Так тихо, что слышно было, как хлещет вода.

Сотни ловцов смотрели на боцмана, а Гуторов, одернув бушлат, подошел к трапу и сердито сказал:

— Вы эти босяцкие штучки оставьте... Моя думал — ваша есть люди. А ваша есть байстрюки, тьфу! Просто сволочь. Тихо! Слушай мою установку. Ваша гуляй в трюм, мало-мало спи-спи... Наша води корабль. Ежели что, буду карать без суда.

Вероятно, никогда в жизни боцман не говорил так пространно. Кончив речь, он не спеша высморкался в платок и, обернувшись к Скворцову, сказал:

— Ступайте на бак, пока они там все не очухались... Быстро!

С той стороны не звали на помощь, но видно было, что одному Чашину с перевязкой не справиться. Он разорвал на раненом форменку и, не выпуская нагана, быстро, точно провод на телефонную катушку, наматывал на Жукова бинт.

— Есть! — ответил Костя. — Я... я иду!

Он подошел к трапу, который спускался прямо в настороженную, враждебную толпу, и нерешительно взглянул вниз.

— Я иду... Я сейчас, — повторил он торопливо, — сейчас, товарищ начальник, вот только...

Он отошел к штурвалу и, присев на корточки, стал рыться в сумке.

Палуба загудела. Ничто не портит дела больше, чем нерешительность. Острым враждебным чутьем толпа поняла и по-своему оценила колебание санитаря. Кто-то визгливо засмеялся. Парень в желтых штанах снова засуетился сзади ловцов.

Оцепенение прошло. Немыслимо было пробиться на бак сквозь толпу, покрывавшую палубу плотнее, чем семечки подсолнухов. Оставался единственный путь — пройти над палубой по массивной, окованной железом стреле, с помощью которой лебедчики поднимают на борт кунгасы. Прикрепленная одним концом к мачте, она висела почти горизонтально над палубой, упираясь другим, свободным концом в ходовой мостик. Такая же стрела тянулась от мачты дальше к носу, а обе они образовали узкую дорожку, протянутую вдоль корабля на высоте десяти — двенадцати футов.

— Да-да... я сейчас, — бормотал Костя. — Где же он?... Вот... нет, не то... Я сейчас...



Беспомощными руками он рылся в сумке, хватаясь то за марлю, то за бинты. Торопясь, вынул пробку, залил руки йодом и, совсем растерявшись, стал вытирать их о форменку.

— Готово? — спросил Гуторов.

— Да-да... Кажется, все... Как же это? Вот только...

Я не узнал голоса Кости. Он был бесцветен и глух. Губы его дрожали, как у мальчишки, готового заплакать. На парня было стыдно, противно смотреть. Я отвернулся...

Гуторов глядел мимо Кости на мачту.

— Только так, — сказал он себе самому.

— Товарищ начальник... я сейчас объясню... я не мо...

— Можешь, все можешь, — сказал боцман спокойно. Он приподнял Скворцова под мышки, поправил на нем сумку и, прошептав что-то на ухо, подтолкнул парня к барьеру.

— Я не...

— А ты не гляди вниз, — сказал Гуторов громко, — ногу ставь весело, твердо, гляди прямо на Жукова... Перевяжешь, останешься с ними...

Гуторов ничего не требовал, ничего не приказывал оробевшему санитару. Он говорил ровнее, мягче обычного, с той спокойной уверенностью, которая сразу отрезает пути к отступлению. Боцман даже не сомневался, что размякший, растерянный Скворцов способен пройти узкой двадцатиметровой дорожкой.

Не знаю, что он прошептал Косте на ухо, но деловитое спокойствие боцмана заметно передалось санитару. Он выпрямился, развернул плечи, даже попытался через силу улыбнуться.

— Главное, рассердись, — посоветовал боцман. — Если рассердишься, все возможно.

Костя перелез через барьер и пошел по стреле. Сначала он двигался медленно, боком, продвигая одну ногу к другой. Балка была скользкая, сумка тянула набок, и Скворцов все время порывисто взмахивал руками. Лицо его было опущено — он смотрел под ноги, на толпу.

На середине балки он поскользнулся и сильно перегнулся назад. Внизу заревели. Костя зашатался сильнее...

Я зажмурился — на секунду, не больше... Взрыв ругани... Чей-то крик, короткий и острый, как нож.

Балка была пуста... Санитар успел добежать до мачты. Обняв ее, он перелез на другую стрелу и пошел тихо-тихо, точно боясь расплескать воду.

Теперь он оторвал глаза от толпы... Он смотрел только на Жукова... Он шел все быстрее и быстрее, потом побежал, сильно балансируя руками, твердо, чуть косолапо ставя ступни...

Взмах руками, прыжок — и Костя нагнулся над Жуковым.

Тут только я заметил, что Гуторов положил пулемет на барьер и держит палец на спусковом крючке.

Увидев, что Костя добрался счастливо, боцман сразу отдернул руку и вытер потную ладонь о бушлат.

— А я бы свалился, — признался он облегченно. — Вот черт, циркач!

— Однако здорово его забрало.

— Что ж тут такого, — сказал Гуторов просто. — и у пулемета бывает задержка... Смотри... Что это?.. А, ч-черт!

«Осака-Мару» медленно выползал из дымовой полосы, и первое, что я заметил, были снежные буруны японских эсминцев.

Распарывая море, хищники с ревом удалялись на юго-восток, а следом за ними, перескакивая с волны на волну, лихо неслись «Смелый» и «Соболь».

— Не туда смотришь! — крикнул Гуторов. — Вот они!

Над моей головой точно разорвали парусину.

Тройка краснокрылых машин вырвалась из-за сопки и, рыча, кинулась в море.

И снова гром над синей притихшей водой. Сабельный блеск пропеллеров. Знакомое замирающее гудение не то снаряда, не то басовой струны.

Шесть истребителей гнали хищников от ворот Авачинской бухты на восток. К черту! В море!

На палубе «Осака-Мару» стало тихо, как осенью в поле. Пятьсот человек стояли, задрав головы, и слушали сердитое гуденье машин. Оно звучало сейчас как напутственное слово бегущим эсминцам.

Краболов повернул в ворота Авачинской губы. Бухта с опрокинутым вниз, окутанным туманом кону-

сом сопки Вилючинской и розовыми клиньями парусов казалась большим горным озером.

Мы обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на эсминцы. Они шли очень быстро, так быстро, что вода летела каскадами через палубу.

Вероятно, это были корабли высокого класса.

1938



Сергей Владимирович Диковский родился в 1907 году в Москве. Детство провел на Украине. После окончания средней школы, восемнадцатилетним юношей, начал он самостоятельный жизненный путь. Работал на железной дороге, был курьером, расклейщиком афиш, библиотекарем, а через несколько лет он нашел свое призвание в журналистике.

«Я избрал путь журналистики потому, что журналистика очень связана с жизнью», — вспоминал позже писатель.

В 1928 году С. Диковский приехал на Дальний Восток, и этот край захватил, покорила молодого газетчика и богатством природы, и духовной красотой, мужеством и стойкостью людей, несущих в еще не освоенные тогда области новую советскую культуру.

Здесь, на Дальнем Востоке, С. Диковский и остался работать — в Хабаровской радиоредакции. Позже, в автобиографии, он писал: «Шестнадцать лет путешествовать по земле, по воздуху и воде в поисках настоящей книги о настоящих людях... Но больше всего меня привлекает Дальний Восток — край необжитый, просторный, где растут по соседству виноград, березы, ели, где работать трудно и радостно».

В 1929 году С. Диковский был призван в ряды Советской Армии. Служил на Дальнем Востоке, в частях славной Краснознаменной Особой Дальневосточной Армии. Принимал участие в боях с белокитайцами на Китайско-Восточной железной дороге. После демобилизации вернулся к журналистике. Он был специальным корреспондентом «Комсомольской правды», а потом — «Правды».

В эти годы, кроме многочисленных очерков, зарисовок, статей, С. Диковский писал рассказы и повести, которые сразу же получили известность у читателей.

Главной темой его творчества становится Советская Армия, где он встретил тех «настоящих людей», о поисках которых он писал в свое время.

Будучи журналистом, Сергей Владимирович объездил всю страну — был в Мурманске, на Балтике и в Средней Азии, но в творчестве своем он остался верен Дальнему Востоку. Здесь, в этом крае, все дышало романтикой подвига, здесь писатель встретил истинно первозданную природу и людей, исполненных незаметного на первый взгляд, скромного, но великого мужества.

В середине тридцатых годов был завершен цикл рассказов «Застава N» — о дальневосточных пограничниках. Это были первые в советской литературе рассказы о буднях пограничной заставы. В них очень живо и наглядно передан неповторимый дальневосточный колорит. А главное — в этих рассказах и в написан-

ной позже (1937 г.) повести «Патриоты» подняты очень важные проблемы.

«Застава №» — это рассказы о мужестве, о подвигах, и тема эта приобретает в творчестве С. Диковского своеобразное звучание: подвиг раскрывается как норма поведения советского человека.

Поэтому-то так спокойно, «буднично» говорят в рассказах С. Диковского о подвигах и те, кто их совершил, и те, кто был их свидетелем или участником. Именно эта скромность, спокойное мужество составляют отличительную черту характера советского человека — бойца и труженика.

Герои С. Диковского часто вовсе не думают о том, что они поднимаются до подвига.

«Нет, челюскинцев у нас не ищите», — говорят на одной из застав приезжему газетчику. А потом выясняется, что боец этой заставы Гусятников тридцать шесть километров гнался за нарушителем, сбросил шинель, сапоги и, едва не замерзнув, все-таки задержал жестокого и сильного врага.

В рассказе «На тихой заставе» главным героем выступает человек самой мирной, прозаической профессии — повар. Но так как это повар на пограничной заставе, он может попасть в самые неожиданные ситуации. Вышел кок как-то зимней ночью из казармы. «Только он сошел с крыльца, как вдруг кто-то легонько его груди коснулся, точно пальцем толкнул. Смотрит повар и не верит. Стоит напротив крыльца человек в полушубке и держит в руках карабин. А мушка уперлась повару в грудь...

...Видит он — казарма в кольце. Конюшня раскрыта. Кони выведены. Стоят наготове. А у окон бандиты с пучками соломы.

...Им крик все дело мог испортить. Подпирает бандит повара карабином и шепчет: «Иди сюда... молчи... не трону... Крикнешь — гроб!»

«Все Майоров (главарь бандитов. — П. Б.) подсчитал, а тут осекся. Повар-то комсомольцем был... Посмотрел он на бандита да как крикнет...»

Писатель скуп, сдержан в описании своих персонажей, но тем ярче выступают главные черты их духовного облика: спокойное, скромное мужество, уверенность в своих силах, а главное — высокое сознание ответственности за свое дело — ответственности перед народом.

Очень характерно, что свою повесть о пограничниках С. Диковский назвал «Патриоты». Мысль о создании этого произведения возникла у него в связи с событиями, получившими широкое отражение в печати тех лет. В столкновении с нарушителями границы на одной из дальневосточных застав погиб боец Котельников. Его место в рядах пограничников занял младший брат.

Повесть эта тоже утверждает героизм «людей в зеленых фуражках», вдохновленных любовью к Родине,

сознанием важности дела, которому они служат. Маленькая группа пограничников стойко удерживает свои позиции в схватке с превосходящими силами врага. Люди идут на гибель, но не отступают.

Военная служба, по мнению писателя, — серьезнейшая школа жизни. Армия воспитывает в людях не только воинские навыки, но и общую культуру, способствует формированию передового мировоззрения. С. Диковский опровергает в повести парадно-поверхностное представление об армии, о пограничной службе.

Один из героев, в прошлом — прославленный бригадир штукатуров, отправляясь в погранотряд, ожидал чего-то необыкновенного, романтического. «Кому в двадцать два года не снится бурка Чапаева? Корж мечтал о кавалерийской атаке, о буденновской рубке, перестрелке в горах... Вместо этого его привели в класс и посадили за стол...»

Начинается период трудной, напряженной, но — будничной учебы, такой учебы, в которой нет второстепенных мелочей, в которой важно все — от умения стрелять до знания птичьих голосов. И еще — молодые бойцы учатся тому, без чего невозможна воинская доблесть. Они учатся по-настоящему глубоко, осознанно, горячо любить свою Родину. Вполне закономерно, что жизнь на заставе делает Коржа хорошим бойцом, воспитывает в нем такие качества, которые помогли ему совершить подвиг.

Вся повесть Диковского, так же, как и его рассказы, проникнута духом, настроением героических тридцатых годов, когда строились десятки заводов, в корне перестраивалась жизнь деревни и когда все более ясно ощущалась близость и неотвратимость вражеского нашествия. С. Диковский находит очень емкий прием, чтобы сделать наглядно ощутимой героическую атмосферу того времени.

Начальник заставы «решил вести «Книгу героев» — подробную летопись подвигов, совершенных советскими патриотами после эпопеи челюскинцев, когда миллионы людей так ясно почувствовали все могущество родины.

...Это была хрестоматия двадцатистрочных рассказов о мужестве, находчивости, скромности сотен малоизвестных советских людей.

...День за днем книга рассказывала бойцам, кто такие Коккинаки, Демченко, Бабочкин, Лысенко, Ботвинник... Ее цитировали на политзанятиях, читали вслух каждый вечер».

Умение воспроизвести во многом своеобразную, мужественную и романтическую духовную атмосферу тридцатых годов — одно из достоинств творческой манеры С. Диковского.

Во второй половине тридцатых годов появились лучшие рассказы С. Диковского, объединенные в цикл «Приключения катера «Смелый», — о морских погра-

ничниках. Каждый рассказ — это какой-нибудь эпизод из жизни экипажа пограничного катера. Он охраняет морские границы у южного побережья Камчатки.

В этих рассказах читатель встречается с замечательными людьми — командиром катера лейтенантом Колосковым, мотористом Сачковым, бойцами Косицыным, Широких и другими. Повествование ведется от лица одного из членов экипажа — рулевого Олещука, человека умного, наблюдательного и веселого. Рассказчик прекрасно подмечает ту или иную «чуждинку» у своих товарищей, что делает их образы как-то очень близкими читателю. В то же время в этих рассказах — таких, например, как «Комендант Птичьего острова», «Главное — выдержка», «На маяке», — ощущается атмосфера опасности, читатель ясно представляет, каким мужеством и выдержкой должны обладать бойцы-пограничники.

Заметно возросло писательское мастерство С. Диковского. Выразительней стал портрет, более глубоко раскрывались характеры. Писатель был на пути к новым творческим успехам. При этом он по-прежнему оставался газетчиком — спецкором «Правды».

Диковский признавался в те годы: «Я не люблю кабинетных писателей, высиживающих за столом свои произведения, людей, не знающих жизни и берущих только усидчивостью, знанием книжного материала». Сам он до последних дней странствовал, жадно приглядываясь к жизни и людям, стремясь запечатлеть «приметы нового», «размаха шага саженьи», которыми шла к социализму страна.

Когда началась война с белофиннами, С. Диковский отправился на фронт в качестве специального корреспондента «Правды». Фронтовые впечатления захватили писателя. И, конечно, он не мог ограничиться ролью наблюдателя. Он участвовал в боях и 6 января 1940 года погиб в одной из схваток с врагом. Как и его герои, Сергей Диковский был настоящим патриотом, мужественным бойцом, неутомимым тружеником.

**П. БОГОЯВЛЕНСКИЙ**

## СОДЕРЖАНИЕ

### Рассказы

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Конец «Саго-Мару» . . . . .                  | 3   |
| Бэри-бэри . . . . .                          | 27  |
| Комендант Птичьего острова . . . . .         | 41  |
| Осечка . . . . .                             | 66  |
| На маяке . . . . .                           | 78  |
| Главное — выдержка . . . . .                 | 96  |
| П. Богоявленский. Писатель-патриот . . . . . | 123 |

**Сергей Владимирович Диковский**

### **ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАТЕРА «СМЕЛЫЙ»**

**Для среднего и старшего школьного возраста**

Редактор Р. А. Шарова. Художник В. Н. Антонов. Художественный редактор А. В. Колесов. Технические редакторы Л. В. Голдобина, Л. А. Польщикова. Корректор В. М. Сосновская.

Сдано в набор 13/XI 1973 г. Подписано к печати 13/XII 1973 г. Бумага типографская № 3. Формат 84×108/32. Усл. п. л. 6,72. Уч.-изд. л. 6,89. Тираж 350 000 (1 — 200 000) экз. Заказ № 7583. Цена 21 коп.

Хабаровское книжное издательство Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

Типография № 1 краевого управления издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

**Диковский Сергей Владимирович**

**Д 45 Приключения катера «Смелый». Хабаровск,  
Кн. изд., 1974.**

**128 с. 350 000 экз. 21 коп.**

**Рассказы о дальневосточных пограничниках 30-х годов, о том, как верно и стойко несли они свою нелегкую службу на сторожевых катерах.**

**7-3-2**

**74**

**ДВР2**

21 кон.